

Цълъана
СОБОЛЕВА

АЛИХАН

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНОЮ
БРАНЬ

Ледвезъна кровь

18+

Ульяна Соболева

Алихан. Медвежья кровь

<https://litres.ru/73757766>

SelfPub; 2026

Аннотация

А потом она заговорила.

И ее голос ровный, спокойный, без единой трещины вошел в мою

агонию как нож в масло.

Мне нужен свет, чистая вода, спирт и нитки. Сейчас. Или он умрет

через двадцать минут.

Не пожалуйста. Не можно. Не помогите.

Приказ.

Эта женщина избитая, похищенная, в чужом доме, окруженная вооруженными мужчинами отдавала приказ. И ее голос звучал так, что

мои люди мои люди, которые слушались только меня дернулись

выполнять.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	24
Глава 3	43
Глава 4	62
Глава 5	84
Глава 6	103
Глава 7	123
Глава 8	143
Конец ознакомительного фрагмента.	154

Ульяна Соболева

Алихан. Медвежья кровь

МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ

Роман

Ульяна Соболева

Глава 1

Людмила

Есть такой момент – между третьим и четвертым часом операции, —

когда перестаешь быть человеком. Руки работают сами. Голова считает:

зажим, тампон, шовный материал, давление падает, адреналин, ещё зажим. А

то, что внутри, то, что когда-то умело бояться, плакать, чувствовать

чужую боль как свою, – оно выключается. Щелк. И ты – функция.

Идеальная, точная, безотказная функция в хирургических перчатках.

Я стала функцией два года назад.

И знаете что? Мне так легче.

– Вершинина, давление шестьдесят на сорок, мы его теряем.

Голос Кости пробился сквозь белый шум в голове, и я вернулась – туда,

где свет операционной лампы бил в глаза, где пахло железом и йодом, где

на столе лежал девятнадцатилетний сержант с осколком в брюшной полости.

– Второй пакет эритроцитарной массы. Быстро.

Костя не спорил. Костя никогда не спорил, когда я говорила «быстро» этим

голосом. Он подключил пакет, и я снова нырнула туда – в красное

месиво, где мои пальцы искали источник кровотечения. Селезенка.

Разорвана. К чертовой матери разорвана.

– Спленэктомия, – сказала я, и это прозвучало буднично.

Как «передай

соль». Как «закрой окно». Как «сейчас я вырежу из живого человека орган,

и он, может быть, доживет до утра».

Сорок минут. Я зашила. Вытащила перчатки, бросила в контейнер. Кровь под

ногтями – привычная, как грязь под ногтями у садовника.

Только

садовник выращивает. А я – не даю умереть. Разница колоссальная, если

вдуматься. Я не создаю жизнь. Я стою на пороге смерти и ору ей в лицо:

«Не сегодня, сука. Не на моей смене».

И смерть иногда слушается.

Иногда – нет.

– Людка, – Костя протянул мне кружку. Железная, мятая, с надписью

«Лучший фельдшер», которую он сам нацарапал гвоздем.
– Чай. С сахаром.

Четыре ложки. И не спорь.

– Меня зовут Людмила, – сказала я по привычке. Бесплезно. Для Кости я была, есть и буду Людкой – с первого дня, когда он решил, что «товарищ капитан» слишком длинно для окопа.

Чертов Маркелов. Единственный человек на этой базе, который обращался со мной как с живой.

Я сделала глоток. Четыре ложки сахара – это было отвратительно. И

необходимо. Руки тряслись. Не от страха – от усталости. Двенадцать

часов. Три операции. Одна ампутация – левая нога ниже колена, рядовой

Ефимов, двадцать два года, смотрел на меня глазами побитой собаки и

спрашивал: «Я буду ходить?» Я сказала: «Будешь. На протезе. Современные

– почти как настоящие». Соврала. Не про протез – про «почти». Ничто

не бывает «почти как настоящее». Либо настоящее, либо нет.

Двое – не дотянули. Рядовой Ахметов – осколочное в голову, мертв до

поступления, я даже не успела разрезать форму. И безымянный – привезли с блокпоста без документов, без жетона, с пулевым в грудь. Я боролась за него сорок минут. Потом остановилось сердце, и я стояла над ним, и во мне не было ничего. Совсем ничего. Как в пустой комнате, где когда-то жили люди – а потом съехали и забрали все, включая обои.

Это пугало меня раньше. Пустота. Теперь – нет. Теперь я знала: пустота – это не болезнь. Это адаптация. Так организм защищает себя, когда ему

слишком много и слишком часто показывают смерть. Он просто выключает те

комнаты, где больно. Заколачивает двери. И ты ходишь по оставшимся —

узким, темным, функциональным – и не замечаешь, что от целого дома

осталась только прихожая.

Я допила чай. Вышла на воздух.

Ночь. Кавказская ночь – густая, тяжелая, с запахом горелой резины и

полыни. Базу затопил свет прожекторов – мертвенно-белый,

хирургический. Я стояла у модуля и смотрела в небо, где не было звезд.

Или были – но прожектора сжирали их свет, и казалось, что над нами —

ничего. Пустота сверху. Пустота внутри. Гармония, мать ее.

Телефон в кармане дернулся.

Вызов. Колонна выходит на эвакуацию раненых с отдаленного блокпоста.

Нужен хирург в сопровождение.

Я перечитала сообщение дважды. Блокпост «Северный» – час езды по

горной дороге, которую наши контролировали днем. Ночью – как повезет.

– Костя.

Он уже стоял рядом. Как всегда. Как тень, которая отбрасывает тебя, а не

наоборот.

– Я видел. Собираюсь.

– Не обязан.

– Не начинай.

Он ушел за снаряжением. Я смотрела ему вслед и думала: вот человек,

который идет в ночь, на дорогу, которую не контролируют, потому что я

иду. Не потому что приказ – приказ ему, фельдшеру, не

касался. Потому

что я. И от этой мысли что-то шевельнулось в одной из
заколоченных

комнат – тихо, как мышь за стеной. Я не стала прислуши-
ваться. Не
сейчас.

Колонна – два бронетранспортера, санитарный «Урал»,
замыкающий

«КамАЗ». Семнадцать человек. Я и Костя – в санитарке,
в кузове, среди

носилок и ящиков с медикаментами. Движок ревел так,
что разговаривать

можно было только криком.

Мы не разговаривали.

Я сидела на ящике и считала повороты. Горная дорога –
серпантин,

узкая, с одной стороны – скала, с другой – обрыв. Фары
вырезали из

темноты куски реальности: камни, кусты, иногда – светя-
щиеся точки

глаз. Животные. Или не животные.

На двадцать третьем повороте мир кончился.

Сначала – звук. Не взрыв – хлопок. Как будто великан
хлопнул в

ладоши над ухом. Потом – толчок. Санитарку подбросило,
я полетела с

ящика, ударилась затылком о борт, и в глазах – белое, яркое, звенящее.

Перевернуло. Я – на потолке, который стал полом. Ящики – на мне.

Медикаменты – россыпью. Что-то мокрое на лице. Кровь. Моя? Чужая? Не разберешь.

– Костя!

Тишина.

Нет. Не тишина. Стрельба. Автоматные очереди – короткие, злые, как

лай. Крики. Мат. Что-то горело – оранжевый свет плясал по стенке

кузова, и от этого света мутило.

– Костя!

Нашла его. Между носилками и ящиком. Без сознания. Кровь из уха —

плохой знак. Сотрясение, возможно – перелом основания черепа. Я

проверила зрачки – реакция есть, слава богу. Пульс – слабый, но есть.

– Держись, Маркелов. Не смей. Слышишь?

Он не слышал.

Дверь кузова вырвали снаружи. Не открыли – вырвали. С мясом, с петель,

с визгом металла. Свет фонаря ударил в глаза. За фонарем – силуэты. Не наши. Я поняла это сразу – по движению, по тишине, по тому, как они стояли: организованно, спокойно, без суеты. Профессионалы. Не боевики из кино – не бородатые фанатики с «калашами» наперевес. Собранные, экипированные, молчаливые. Меня вытащили. Грубо, за шиворот, как кошку. Я попыталась упереться — получила удар в скулу. Не сильный. Предупреждающий. «Не рыпайся». Я поняла. Перестала. Стояла на коленях на мокром асфальте и видела: головной бронетранспортер – перевернут, горит. Второй – на боку, из люка торчит чья-то рука. Не двигается. «КамАЗ» – цел, но вокруг него – тела. Наши. Не все мертвые – кто-то стонал, кто-то полз. Никто не помогал. Семнадцать человек. Сколько осталось – не знаю. Не хотела знать. Не могла знать, потому что если я начну считать мертвых – я сломаюсь. А я не могу сломаться. Мне нельзя. На мне – Костя. Живой.

И пока он живой
– я функция. Я работаю.

Человек в маске – старший, по движению видно – вытащил рацию. Сказал что-то по-чеченски. Я поняла обрывки – учила базовый, для работы, для раненых, которые в бреду переходили на родной. Поняла: «хирург», «женщина», «живая».

Пауза.

Голос из радиации – низкий, хриплый, короткий: «Везите».

Одно слово. И от этого слова – от того, как оно прозвучало, от интонации, в которой не было ни вопроса, ни сомнения, только приказ, тяжелый как камень, – у меня внутри все обрушилось. Не страх. Хуже.

Понимание. Четкое, кристальное, хирургически точное: моя жизнь только

что кончилась. Та, которая была. Колонна, база, операционная, кружка

Кости, чай с четырьмя ложками сахара. Все. Кончилось.

Я не знала, что начинается.

Меня подняли. Затолкали в машину – темный внедорожник, тонированные

стекла, запах кожи и оружейной смазки. Руки не связали
– зачем? Куда я
побегу? Вокруг – горы, ночь, чужая территория. Я могла
выпрыгнуть на
серпантине – и умереть. Или не выпрыгнуть – и узнать,
что бывает
хуже смерти.
Я выбрала «узнать».
Не потому что храбрая. Потому что Костя был во второй
машине. Я видела,
как его грузили – на носилках, без сознания. Живой. Пока
– живой. И
пока он жив – я не прыгаю.
Ехали долго. Час. Может, два. Я потеряла счет поворотам.
В машине пахло кожей, потом и оружейной смазкой. Рядом
сидел один из них
– молодой, может, лет двадцать пять, автомат на коленях,
смотрел в
окно. Не на меня. Я для него была грузом. Посылкой. Он
ее сопровождал
– и ему было скучно.
Я думала о маме.
Странно, правда? Не о Косте. Не о себе. О маме, которая
умерла, когда
мне было одиннадцать. Рак поджелудочной. Я помню, как
стояла у ее

кровати в хосписе и держала ее руку – высохшую, желтую, почти

невесомую. И мама сказала: «Людочка, ты будешь сильной. Сильнее, чем

нужно. И это тебя сломает. Но потом – соберет заново. Обещаю.»

Она не успела увидеть, как я поступила в военно-медицинскую академию. Не

увидела, как я зашивала первого раненого – руки ходили ходуном, а в

голове крутилось: «Мама, я сильная. Видишь? Я сильная». Не увидела, как

я стояла над телом Андрея – Андрюши, моего Андрюши – и не смогла его

спасти. Пуля прошла через правый желудочек, и я стояла с зажимом в руках

и смотрела, как линия на мониторе превращается в прямую, и мир был

белым, звенящим, ненастоящим.

После Андрея я перестала быть Людочкой. Стала Вершининой. Капитаном.

Функцией. И мне – так – было – легче.

А сейчас, в чужой машине, на чужой дороге, в чужих горах, я почему-то

снова была одиннадцатилетней девочкой, которая держит мамину руку и не

понимает, почему мир устроен так жестоко. Почему те, кого любишь, уходят. Почему те, кого не знаешь, решают твою судьбу. Почему одно слово из рации – «везите» – может перечеркнуть все, что ты строила, все, чем ты была.

Машину тряхнуло на ухабе, и я прикусила язык. Рот наполнился кровью — своей, на этот раз. Проглотила. Привкус меди. Привкус реальности.

Нет. Я не одиннадцатилетняя девочка. Я – капитан Вершинина. Военный хирург с тремя командировками. Женщина, которая зашивала людей под обстрелом. Мои руки спасли сто двенадцать жизней – я считала. Каждую.

Каждое лицо. Каждое имя. Сто двенадцать причин продолжать.

Сто двенадцатая была сегодня. Сержант с осколком в селезенке. Он сейчас лежит на базе, и его пульс ровный, и капельница делает свое дело, и он, может быть, позвонит матери завтра утром и скажет: «Мам, все нормально. Царапина».

А я – здесь. И никто не позвонит моей матери. Потому что ее нет. И
отца нет – спился, когда мне было шестнадцать, умер на лавке у
подъезда, замерз. Красивая смерть для человека, который всю жизнь бежал
от холода внутри.
Горная дорога сменилась грунтовкой, грунтовка – колеей, колея вывела к
воротам. Каменная стена – высокая, старая. Вышки по углам. Не военная
база – но и не просто дом. Крепость. Так строят люди, которые
привыкли, что к ним приходят ночью и не с цветами.
Ворота открылись. Двор. Фонари. Люди – мужчины, все вооружены, все
смотрят. На меня. Я шла между двумя конвоирами, и мои ботинки —
армейские, тяжелые, заляпанные чужой кровью – стучали по каменным
плитам, и этот звук был единственным, что я слышала. Все остальное —
молчание. Густое, плотное, как вата. Молчание людей, которые знают
что-то, чего не знаю я.
Меня подвели к дому. Большой, каменный, двухэтажный.

Свет в окнах

первого этажа – желтый, теплый. И на крыльце – мужчина.

Он стоял, привалившись к дверному косяку, и от него шло то, что я потом

долго не могла назвать. Не угроза. Не сила. Что-то древнее. Что-то, от

чего позвоночник реагировал раньше мозга – инстинктом, рефлексом,

миллионами лет эволюции, которые кричали: «Хищник. Стой. Не двигайся. Не

смотри в глаза».

Я посмотрела.

Высокий. Худой – но не болезненно, а жилисто, как человек, который

никогда в жизни не ел лишнего. Лицо – как топором вырубленное: скулы,

челюсть, шрам через левую бровь, нос – сломанный, может быть, не раз.

Черные волосы, короткие. И глаза. Карие. Нет – черные. Нет —

никакие. В них не было цвета. В них было\... ничего. Пустота. Но не та,

что у меня – моя пустота была защитой, щитом. Его пустота была

оружием. Он смотрел на меня – и я физически ощутила, как этот взгляд

проходит сквозь кожу, сквозь мышцы, сквозь ребра, и трогает что-то

внутри. Грубо. Без разрешения.

Меня затошнило.

Не от страха. От узнавания. Потому что я видела таких людей. На

операционном столе. Когда разрезаешь – внутри у всех одинаково.

Органы, сосуды, кровь. Но иногда – редко, может, трижды за всю мою

практику – ты смотришь на человека и понимаешь: внутри у него что-то

не так. Что-то вырезано. Давно, грубо, без наркоза. И на месте

вырезанного – рубец, жесткий, как подошва.

Этот мужчина состоял из рубцов.

Он смотрел на меня как на предмет. Как на коробку, которую доставили —

вскрыть, проверить содержимое, решить, нужна или нет.

Ни интереса, ни

злости, ни любопытства. Оценка. Холодная, деловая, мгновенная.

Я стояла перед ним – в разорванной форме, с кровью на лице, с грязью

под ногтями, с пустотой внутри – и думала одно: «Ты не знаешь, на кого

смотришь. Ты видишь женщину. Маленькую, побитую, в чужой крови. Ты

думаешь – сломается. Потому что все ломаются. Ты привык, что все

ломаются.

Ты ошибаешься».

Я выпрямилась. Подняла подбородок. Посмотрела ему в глаза – в эту

черную дыру, где когда-то, может быть, было что-то живое – и мой голос

не дрогнул.

– Я – капитан медицинской службы Людмила Вершинина.

Военный хирург.

Мой напарник ранен и нуждается в помощи. Либо вы дадите мне его

осмотреть, либо объясните, зачем привезли сюда живой.

Тишина.

Мужчины во дворе переглянулись. Кто-то хмыкнул. Кто-то переступил с ноги

на ногу.

Человек на крыльце не двинулся. Смотрел. Секунду. Две. Три.

Потом – еле заметно, одним углом рта – усмехнулся.

Не улыбка. Тень. Призрак чего-то, что когда-то могло быть улыбкой, но

разучилось.

И повернулся спиной. Вошел в дом. Не оглянулся.

Конвоир толкнул меня в плечо – иди. Я пошла. По каменным ступеням,

через тяжелую дверь, в коридор, пропахший дымом и чем-то мясным. Дом был

теплым. Странно теплым для места, которое выглядело как тюрьма.

Меня провели наверх. Комната – маленькая, чистая. Кровать, стул, окно

с решеткой. На подоконнике – стакан воды. Кто-то позаботился. Или

кто-то знал, что я приеду.

Дверь закрылась. Замок щелкнул.

Я села на кровать. Положила руки на колени. Посмотрела на них. Мои руки.

Руки хирурга. Руки, которые сегодня вытащили осколок из

девятнадцатилетнего мальчика. Руки, которые не спасли двоих. Руки,

которые тряслись – мелко, почти незаметно – и не могли остановиться.

За стеной – тишина. За окном – горы. Черные на черном, как будто

кто-то вырезал куски из неба.

Я не плакала.

Не потому что сильная. Потому что та комната, где живут

слезы, была

заколочена давно и надежно. Я сидела в чужом доме, в чужих горах, за

запертой дверью, и мне нечем было плакать. Я была пустая. Выскобленная.

Как матка после чистки – стерильно, больно, и ничего живого внутри.

Но руки тряслись.

И я знала – это не страх. Это тело помнит то, что разум запретил. Тело

знает: случилось что-то непоправимое. Тело ещё не смирилось. Тело ещё надеется.

Глупое, глупое тело.

Я легла. Закрыла глаза. И перед тем как провалиться в черный сон без дна

и берегов, подумала одно:

тот человек на крыльце. Он смотрел на меня как на предмет. Как на актив.

Как на вещь, которую доставили.

Но в последнюю секунду – когда я назвала свое имя и звание, когда мой

голос не сломался, когда я посмотрела ему в глаза и не отступила – в

последнюю секунду в его пустых глазах мелькнуло что-то.

Не интерес. Не уважение.

Настороженность.

Как у зверя, который впервые встретил того, кто не победил.

Я засыпала с этой мыслью. И с привкусом чужой крови на губах. И с одним

вопросом, который бился в висок, как пульс раненого под моими руками:

что будет, когда зверь поймет, что я тоже не убегу?

Я не знала ответа.

Но тело – глупое, мудрое, помнящее всё тело – почему-то перестало

трястись.

Глава 2

Алихан

Смерть пахнет не кровью. Кровь – это медь, это железо, это живое.

Смерть пахнет иначе. Она пахнет мокрой землей и чем-то сладковатым,

приторным, от чего сводит челюсть. Я знаю этот запах. Я нюхал его в

четырнадцать лет, когда лежал в канаве рядом с мертвым ровесником,

которому я всадил пулю в грудь, и ждал, пока стихнут шаги тех, кто

пришел убивать. Я нюхал его, когда нес на спине тело старшего брата

Хусейна – три километра по горной тропе, и кровь текла мне за шиворот,

и я разговаривал с ним, хотя он уже час как не дышал. Я нюхал его, когда

отца застрелили у ворот нашего дома, и я стоял у окна и смотрел, как он

падает – медленно, невозможно медленно, будто мир поставили на паузу,

чтобы я запомнил каждую деталь.

Я запомнил.

Каждую.

И сейчас – этот запах снова. Мой собственный. Потому что я умирал.

Четыре пули. Плечо – навывлет, чисто, это ерунда. Бедро – глубоко,

кость цела, но мясо разворочено, и кровь хлещет так, что нога онемела.

Бок – вот это серьезно. Вот это – приговор. Я чувствовал, как внутри

что-то рвется, хлюпает, заливает. Печень? Может быть. Может быть, что-то

рядом. Я не врач. Я – тот, кого врачи собирают по частям.

Четвертая

– касательная, голова, висок, на сантиметр левее и не было бы этих

мыслей. Не было бы ничего.

Сантиметр. Вся моя жизнь уместилась в один сантиметр. Смешно.

Нет. Не смешно. Больно. Так больно, что хотелось выть – по-волчьи,

запрокинув голову, как выл Хусейн, когда ему оторвало ногу миной на

дороге к школе. Школа. Он шел в школу. Ему было шестнадцать. Мне —

двенадцать. Я бежал за ним и видел, как он наступил на то место, и потом

– звук, и пыль, и я лежал на земле и не понимал, почему небо красное.

Небо не бывает красным.

Бывает.

Когда смерть рядом – небо становится таким цветом, какого не бывает.

Потому что мозг отключается, и ты видишь мир в последний раз, и он

решает показать тебе что-нибудь красивое на прощание.

Как последний

подарок от реальности, которая всю жизнь тебя имела.

– Алихан. Алихан! Слышишь меня?

Вахид. Его лицо – надо мной. Размытое, как через мокрое стекло. Я

хотел ответить – во рту было полно крови. Сплюнул. Или попытался.

Потекло по подбородку, по шее, за ворот.

– Не двигайся. Мы тебя вытащили. Ты в доме.

В доме. Моем доме. Крепости, которую я строил пять лет – камень за

камнем, стену за стеной. Место, где мои люди могли спать и не бояться,

что ночью придут и вырежут. Место, которое я создал на руинах того, что

отобрала война. Мой дом. Моя нора.

И я подышал в ней, как подстреленный зверь.

– Врача, – прохрипел я.

– Врача нет. Ближайший в городе. Город – территория Хасана.

Хасан. Имя кольнуло раньше, чем боль. Дядя. Брат отца. Человек, который стоял и смотрел, когда отцу стреляли в спину. Который «не успел помочь».

Который двадцать лет ждал момента и дождался.

Это его люди. Его засада. Его пули – в моем теле.

Я закрыл глаза. Темнота. Красные вспышки – сосуды в веках, пульс,

который слабел с каждым ударом. Или мне казалось. Когда умираешь – все

кажется. Реальность теряет плотность, становится жидкой, текучей, и ты

плывешь в ней, как в мутной воде, и не знаешь – это еще жизнь или уже нет.

Голос матери. Откуда? Мама умерла, когда мне было семнадцать. Тихо, без

войны – просто сердце остановилось. Устало. Двух сыновей похоронила,

мужа похоронила, а сердце – не железное. Сердце – мышца. Мышца

устаёт. Рвется. Мамина – порвалась.

«Алихан, мальчик мой. Ты слишком много несешь. Поло-

жи. Хотя что-нибудь

– положи».

Я не положил. Я нес – все, всех, всегда. Потому что больше никому.

Потому что я – последний. Последний Шамхаев. Если я умру – не

останется никого. Линия оборвется. И люди, которые верят мне, которые

спят в моем доме и едят за моим столом, – они окажутся одни. Без

стены. Без закона. Без волка, который стоит между ними и тьмой.

Нельзя. Умирать. Нельзя.

– Вахид.

Он был рядом. Всегда рядом. Сорок лет, лицо – как кора старого дерева,

руки – как корни. Вахид – «Волк». Не прозвище – имя. Его так

назвал мой отец, когда Вахид пришел к нам двадцатилетним мальчишкой и

сказал: «Я буду служить». Отец спросил: «Почему?» Вахид: «Потому что у

меня никого нет. А у вас – есть что защищать». Отец называл его Волком.

И Волк – служил. Двадцать лет. Верно. Молча. Как тень, которая

убивает.

– Федеральная колонна, – сказал Вахид. – Тридцать километров к

востоку. Санитарная машина. Там – медики.

Я понял. Сразу. И то, что он предлагал, и чем это пахло.

Нападение на

военную колонну – это не клановая разборка. Это война с государством.

Это прилетит так, что камня на камне не останется.

– Сколько у нас? – спросил я.

– Двенадцать человек. Но колонна легкая – два бэтээра, санитарка, грузовик.

– Потери?

– Будут.

Будут. Конечно будут. Потери – всегда. Я отправлю людей, и кто-то не

вернется. И их жены будут выть ночью, и дети будут расти без отцов, и

это буду я. Мое решение. Моя кровь на моих руках. Еще одна капля в

океан, в котором я тону с четырнадцати лет.

Но если я умру – будет хуже. Если я умру – Хасан возьмет территорию.

Хасан придет сюда, в мой дом, и сядет за мой стол. И люди, которые верят

мне, – они будут стоять перед ним на коленях. Или лежать в земле.

Есть такой момент – когда ты выбираешь не между хорошим и плохим. А

между плохим и невыносимым. Между чужой кровью и своей смертью. Между

грехом и катастрофой. И ты выбираешь грех, потому что катастрофа заберет

всех, а грех – это только ты. Твоя ноша. Твой ад. Твой выбор.

– Бери, – сказал я.

Одно слово.

Самое тяжелое слово, которое я произнес в жизни. И жизнь не была легкой.

Вахид кивнул. Встал. Вышел. Без вопросов, без колебаний. Он понимал. Он

всегда понимал. В этом – его сила. И в этом – его опасность.

Человек, который понимает тебя лучше, чем ты сам, – это либо друг,

которого не заслуживаешь, либо враг, которого не замечаешь.

Я остался один.

Комната. Моя комната. Потолок – серый бетон, следы от опалубки. Лампа

– одна, тусклая, качается от сквозняка. Стены – камень.

Кровать —

жесткая, армейская. Я лежал на этой кровати и чувствовал, как жизнь

вытекает из меня — буквально. Пропитывает простыню, матрас, капает на

пол. Мне тридцать три года. Возраст, в котором, говорят, распяли

пророка. Я не пророк. Я — то, что остается, когда пророки заканчиваются и начинаются те, кто делает грязную работу.

Я закрыл глаза.

Лицо отца. Не мертвое — живое. Как он выглядел до того, как пуля

забрала у него все. Широкие плечи, борода с проседью, руки — огромные,

теплые, которыми он подбрасывал меня в воздух, когда мне было пять. Я

летел и верил, что он поймает. И он ловил. Всегда.

Потом перестал.

Потом пришла война, и он потерял руку, и братьев, и себя.

И стал другим

человеком — тихим, сломанным, с глазами, в которых стояла вода. Он

хотел мира. Говорил: «Хватит крови. Мы должны строить, а не стрелять». И

Хасан смотрел на него с презрением, потому что для Ха-

сана мир – это

слабость, а слабость – это смерть.

Хасан оказался прав. Для отца – мир стал смертью. Пуля
в спину, у

собственных ворот, на глазах у собственного сына.

Я видел. Мне было девятнадцать. Я стоял у окна и видел,
как отец падает,

и видел, как Хасан стоит рядом – руки в карманах, лицо
спокойное, как

будто смотрит, как идет дождь. Не дернулся. Не крикнул.

Не достал

оружие.

Стоял. И смотрел.

И я знал. С той секунды – знал. Не догадывался, не подо-
зревал —

знал. Как знаешь, что небо – наверху, а земля – внизу.

Аксиома.

Хасан убил моего отца. Не своими руками – он слишком
умен для этого.

Но его молчание, его неподвижность, его спокойное лицо
– это был

приговор, который он вынес и исполнил чужими руками.

Я поклялся. Тогда, у окна. Молча, без свидетелей, без Ко-
рана. Поклялся

себе. Что найду. Что убью. Что верну то, что он забрал.

Пятнадцать лет прошло. Я до сих пор не выполнил клятву.

И вот – он

опять. Четыре пули. Я все еще жив. Он все еще дышит.

Кто-то из нас

должен перестать.

Бред накатывал волнами. Реальность мерцала – то четкая, то размытая,

как радиоволна, которую никак не поймаешь. Я видел: потолок. Лампу. Тень

на стене. Потом – лицо брата Султана. Младший. Девятнадцать лет. Фугас

на дороге к аэропорту. Закрытый гроб. Мама не хотела закрытый гроб, она

хотела увидеть его лицо в последний раз. Ей не дали. Потому что лица —

не было.

Я помнил его смех. Султан смеялся так, что дрожали стены. Громко,

запрокинув голову, до слез. Он смеялся за день до смерти.

Рассказывал

анекдот. Я не помню анекдот. Помню смех. И помню тишину после – когда

смех кончился навсегда.

Человек – это набор звуков, которые он издает при жизни. Голос, смех,

дыхание, шаги. Когда он умирает – звуки остаются. В стенах. В воздухе.

В ушах тех, кто слышал. И ты ходишь по дому и слышишь мертвых – их голоса, их шаги, их дыхание. И не знаешь: это безумие или любовь. Или безумие и есть любовь, когда теряешь слишком многих. Я терял. Всех. Отца. Хусейна. Султана. Маму. Друзей – тех, кто стоял рядом и упал. Женщин – нет, женщин не было. Не настоящих. Были тела в темноте, быстрые, безымянные, без утра. Я не подпускал. Не потому что не хотел – потому что каждый, кого я подпускал, умирал. Закономерность. Статистика. Я – ходячее проклятие. Я – тот, рядом с кем не выживают. Поэтому – один. Поэтому – стена, за которой ничего. Поэтому — пустота в глазах, которая пугает людей. Меня она давно не пугает. Я в ней живу. Обставил мебелью. Повесил шторы. Пустота – мой дом внутри дома. Единственное место, где безопасно. Потому что в пустоте нечего терять.

Есть такая штука – порог. Не тот, что в двери. Тот, что внутри. За ним

– либо жизнь, либо нет. И ты стоишь на нем, и ноги не держат, и тьма

тянет вниз, и единственное, что удерживает – злость. Не воля. Не вера.

Не любовь – какая, к черту, любовь, я не знаю этого слова, я его не

выучил, мне его не преподавали. Злость. Тупая, звериная, корневая.

Злость человека, которого слишком много раз пытались убить и не смогли.

Я стоял на пороге и скалился в темноту. И темнота отступала. Не потому

что боялась. Потому что ей со мной было скучно. Я слишком долго приходил

к ней в гости, чтобы она принимала меня всерьез.

Время текло рваными кусками. Забытье – явь – забытье. Вахид вернулся

или нет? Я не знал. Рядом кто-то менял повязки. Тимур? Молодой,

двадцатилетний, с глазами щенка и руками убийцы. Тимур потерял всю семью

в двенадцать лет. Пришел ко мне в пятнадцать – худой, голодный, злой.

Сказал: «Я умею стрелять». Я ответил: «Сначала научись

читать». Он

научился. И стрелять – тоже. Сейчас он – лучший. И самый преданный.

Преданность голодного мальчика, которого накормили, – самая прочная на свете. И самая слепая.

Звук.

Дверь.

Шаги. Несколько пар ног. Голоса Вахида – короткие, рубленые. И другие – незнакомые. И запах. Чужой запах. Не горы, не порох, не дым.

Что-то\... стерильное. Медицинское. Больничное. Запах, от которого сводило скулы, потому что он был из другого мира. Из мира, где люди лечат, а не калечат. Из мира, которого у меня никогда не было.

Я открыл глаза.

Она стояла в дверях.

Невысокая. Худая – не хрупкая, а жилистая, как человек, который давно забыл, что такое лишний час сна. Форма – армейская, разорванная на плече, заляпанная. Кровью. Не ее – чужой. Много. Лицо – разбитое:

ссадина на скуле, кровоподтек у виска, губа рассечена. Волосы —

темные, короткие, слипшиеся от пота и пыли. Глаза\...

Глаза.

Я видел тысячи глаз. Глаза тех, кого я убивал, — в них стоял ужас,

мокрый, животный, от которого зрачки расползались во всю радужку. Глаза

тех, кто убивал меня, — в них было пусто, как в моих. Глаза матерей,

которые хоронили сыновей. Глаза детей, которые видели то, чего дети

видеть не должны.

Ее глаза не были ни теми, ни другими.

В них было что-то, чему я не знал названия. Что-то холодное и точное,

как лезвие. Она смотрела на меня — на кровь, на раны, на мое

полумертвое тело на пропитанной простыне — и не испугалась. Ни на

секунду. Ни на долю секунды. В ее лице не дрогнул ни один мускул. Она

смотрела так, как я смотрю на поле боя перед атакой: оценивая,

просчитывая, принимая решение.

А потом она заговорила.

И ее голос – ровный, спокойный, без единой трещины –
вошел в мою

агонию как нож в масло.

– Мне нужен свет, чистая вода, спирт и нитки. Сейчас.
Или он умрет

через двадцать минут.

Не «пожалуйста». Не «можно». Не «помогите».

Приказ.

Эта женщина – избитая, похищенная, в чужом доме, окру-
женная

вооруженными мужчинами – отдавала приказ. И ее голос
звучал так, что

мои люди – мои люди, которые слушались только меня –
дернулись

выполнять. Вахид метнулся за водой. Тимур потащил
лампу. Кто-то загремел

ящиками в поисках спирта.

А она подошла ко мне.

Ближе. Еще ближе. Наклонилась. Руки – маленькие, в за-
сохшей крови, с

обломанным ногтем на указательном пальце – коснулись
моей шеи. Пульс.

Проверяла пульс. Пальцы были холодные. Или я горел –
температура,

наверняка, тело пыталось бороться, и все вокруг казалось
ледяным.

Она посмотрела мне в глаза. Сверху вниз. Я лежал – она стояла. Я

умирал – она решала, буду ли я жить.

И в этот момент – в этот точный, хирургический момент – я понял одну

вещь. Простую. Страшную.

Моя жизнь – в ее руках.

Моя жизнь. Жизнь Алихана Шамхаева. Человека, которого боялись. Которому

подчинялись. Который решал – кому жить, кому умереть.

Моя жизнь – в

маленьких окровавленных руках женщины, чье имя я не знал.

Это было унижительно.

Это было правильно.

Потому что есть вещи сильнее власти. Сильнее оружия. Сильнее страха.

Есть руки, которые умеют то, чего не умеет никто вокруг.

И перед этими

руками – ты голый. Ты – мясо на столе. Ты – набор органов, сосудов

и костей. Вся твоя власть, все твои люди, все твое оружие

—

бесполезно. Потому что пулю из печени не извлечь автоматом. И кровь не

остановить приказом.

Она извлечет. Или нет.

Она решит.

Не я.

Я смотрел на нее снизу вверх – из темноты, из боли, из запаха

собственной крови – и думал: ты не боишься. Почему ты не боишься? Тебя

привезли в волчью нору, к умирающему зверю, и ты стоишь над ним с

холодными руками и командуешь его стаей. Кто ты?

Она не ответила. Она не слышала моих мыслей. Она уже работала – резала

форму, осматривала рану на боку, и ее лицо было сосредоточенным,

замкнутым, абсолютно непроницаемым.

Я провалился в темноту.

Последнее, что слышал – ее голос. Тихий, но твердый. Она говорила

Вахиду:

– Держите его. Крепко. Будет больно.

Будет больно.

Мне было смешно. Где-то на самом дне, под кровью и бредом и темнотой —

смешно. Потому что «больно» – это все, что я знал. Вся моя жизнь была

болью. Я родился в боли, вырос в боли, убивал и терял в

боли. Больно —

это мой воздух. Мой язык. Мой единственный способ
знать, что я еще жив.

Будет больно?

Хорошо.

Значит — буду жить.

Темнота забрала меня. Целиком. Без остатка. И послед-
нее, что я видел

перед тем, как мир погас — ее руки. Маленькие, точные,
окровавленные.

Руки, которые полезли в мою развороченную плоть, что-
бы найти пулю и

вытащить ее. Чтобы вытащить меня — из темноты, из
смерти, из пустоты,

в которой я жил так долго, что забыл, как выглядит свет.

Я не знал ее имени.

Я не знал, зачем она это делает.

Я знал одно: если выживу — она не уйдет.

Не потому что я жесток. Не потому что она — трофей или
актив.

Потому что есть люди, которых нельзя отпускать. Которые
входят в твою

жизнь, как пуля входит в тело — насквозь, навывлет, с ды-
рой, которая не

заживет. И ты можешь вырезать пулю. Но дыра — останет-
ся. И через нее

будет дуть ветер. Всегда.

Я провалился.

И в темноте – впервые за пятнадцать лет – мне не снились мертвые.

Глава 3

Людмила

Есть вещи, к которым нельзя подготовиться. Можно отучиться шесть лет в

академии. Можно пройти ординатуру, интернатуру, три командировки. Можно

защитить двести ран, вырезать тридцать осколков, ампутировать семь

конечностей. Можно стать машиной – идеальной, безотказной, с руками,

которые не дрожат.

А потом тебя притащат в подвал чужого дома, поставят перед кухонным

столом, на котором лежит человек с четырьмя пулями в теле, и скажут:

спаси.

И ты поймешь, что все твои шесть лет, все ординатуры и командировки —

это была репетиция. А сейчас – премьера.

Без ассистента. Без аппаратуры. Без наркоза. Без права на ошибку.

Подвал пах сыростью, бетонной пылью и кровью – его кровью, которая уже

пропитала всё: простыню, стол, пол. Лужа растекалась к

моим ботинкам, и

я наступила в неё, не заметив, и подошва чавкнула. Звук, от которого у

нормального человека подкосились бы колени. Я – не нормальный человек.

Я давно не нормальный человек.

Лампа. Одна. На удлинителе, примотанном изолентой к трубе на потолке.

Свет – желтый, дрожащий, недостаточный. Я работала при худшем. Однажды

– при свете телефонного фонарика, когда генератор на базе сдох, а на

столе лежал парень с осколком в бедренной артерии. Он выжил. Мой телефон

– нет. Утонул в крови.

– Стол – протереть спиртом. Весь. Сейчас.

Мой голос звучал не как мой. Чужой, командный, металлический. Голос,

который включался автоматически, когда внутри всё обрушивалось. Чем

страшнее снаружи – тем тише и тверже внутри. Обратная пропорция.

Физика выживания.

Мужчина, которого называли Вахидом – тот, с лицом как кора дуба, —

молча взял тряпку и протёр стол. Водка вместо антисеп-

тика – полбутылки

на поверхность, остальное мне на руки. Я лила и думала: семьдесят

процентов спирта убивают большинство бактерий. Водка – сорок. Значит,

половина дряни выживет. Значит, инфекция – вопрос времени. Значит, мне

нужны антибиотики, которых здесь нет.

Думай потом. Сейчас – руки.

Я осмотрела его. Быстро, системно, как учили. Первичный осмотр —

тридцать секунд. За тридцать секунд ты должен понять, что убьет человека

первым.

Плечо – навывлет. Входное и выходное. Чисто. Кость цела. Это подождет.

Голова – касательное. Борозда вдоль виска, кожа содрана, кость не

задета. Сотрясение – наверняка. Но не это его убивает.

Бедро – рваная рана, мышцы разворочены, крупный сосуд повреждён, но не

бедренная артерия – иначе он бы уже не лежал на столе.

Жгут —

наложен, грамотно. Кто-то из его людей соображает. Это подождет – но

недолго.

Бок.

Вот здесь я остановилась.

Вот здесь в моей голове, в том тихом месте, где живет хирург, что-то сжалось.

Входное отверстие – слева, между девятым и десятым ребром. Выходного

нет. Пуля внутри. Кожа вокруг – багровая, натянутая, горячая. Живот

– вздут, при пальпации – твердый. Перитонеальные симптомы.

Внутреннее кровотечение. Пуля либо в печени, либо рядом с ней, и каждая

минута, которую я трачу на осмотр, – это минута, которую он теряет.

– Держите его. Крепко. Будет больно.

Вахид и ещё один – молодой, с глазами щенка, тот, которого потом я

узнаю как Тимура – навалились на его плечи и ноги. Я взяла скальпель.

Не хирургический – кухонный нож, который Вахид заточил и облил

спиртом. Господи. Кухонный нож. Я собиралась резать живого человека

кухонным ножом.

Есть момент – перед первым разрезом. Каждый хирург его

знает. Секунда

тишины. Лезвие над кожей. Ты ещё не начал. Ещё можно положить нож. Ещё

можно сказать: «Я не могу». И никто не осудит.

Но если ты положишь нож – человек умрет.

И ты будешь жить с этим.

А ты уже живешь с двумя, которых не спасла сегодня. С Андреем, которого

не спасла два года назад. С каждым лицом, которое приходит ночью и

смотрит из темноты, и не обвиняет – просто смотрит. И это хуже

обвинений.

Я не положила нож.

Разрез. Кожа разошлась – легко, как ткань. Кровь – сразу, много,

темная, венозная. Хорошо, что не алая. Алая – артериальная, это

фонтан, это секунды. Темная – это время. Немного, но есть.

Он дёрнулся. Несмотря на двух мужиков, которые его держали, – дёрнулся

так, что стол сдвинулся на полметра. Зарычал. Не закричал – зарычал.

Звук, от которого мурашки пошли вдоль позвоночника – не вверх, а вниз,

к копчику, к тому месту, где живут древние рефлексy. Так рычит зверь,

которому больно. Не человек. Зверь.

Я не остановилась.

Нельзя останавливаться. Если остановишься – потеряешь визуализацию,

залёт кровью, и начинай сначала. А «сначала» – это время, которого

нет.

Руки работали сами. Пальцы – в ране, по локоть в крови, скользкие,

горячие от чужого тепла. Тело человека изнутри – горячее, чем думаешь.

Тридцать семь снаружи, а внутри – печь. И ты лезешь в эту печь голыми

руками и ищешь кусок металла, который не должен там быть.

Нашла.

Пуля. Девять миллиметров. Застряла в краю печени – левая доля, самый

край. Повезло. Господи, как повезло. Сантиметр вправо – и пуля была бы

в паренхиме, и я бы ничего не сделала, и он бы умер на этом столе, под

этой лампой, под моими руками. Как Андрей. Как те двое сегодня. Как все,

кого я не успела.

Но сантиметр – влево. И пуля – с краю. И я могу её взять.

– Зажим. Любой зажим. Плоскогубцы. Пинцет. Что-нибудь.

Тимур метнулся. Вернулся с пинцетом – кухонным, для рыбных костей. Я

бы засмеялась, если бы могла. Рыбный пинцет. Я извлекала пулю из печени

рыбным пинцетом. Какой-нибудь профессор из академии, увидев это, упал бы

в обморок. Или написал бы статью. Или и то, и другое.

Захватила. Потянула. Медленно. Нежно, как акушерка тянет ребенка. Пуля

не хотела. Ткань держала, присосалась, обросла фибрином. Я тянула – и

чувствовала, как он под моими руками напрягается каждой мышцей, каждым

сухожилием, и молчит. Больше не рычит. Молчит. Сстиснул зубы так, что

желваки ходили ходуном, и на лбу – пот, крупный, как градины, и глаза

– закрыты.

Тимур – мальчишка с щенячьими глазами – смотрел на мои руки и был

белый как стена. Я видела: он сейчас грохнется. Здоровый, вооруженный

мужик с автоматом за спиной – а от вида кишок его повело.

– Эй, – сказала я, не отрывая взгляда от раны. – Смотри на меня.

Не на рану. На меня. Дыши.

Он выдохнул. Задышал. Удержался на ногах. И продолжал держать хозяина за

плечи – побелевшими пальцами, с такой силой, что утром там будут синяки.

Странно, что мне было до этого дело. Странно, что в тот момент —

посреди чужого подвала, с руками в чужой плоти, с пинцетом от рыбных

костей – я заметила мальчишку и подумала: он любит этого человека.

По-настоящему. Не как подчиненный – как сын. И если я не спасу того,

кто лежит на столе, – этот мальчишка сломается. Ещё один ребенок,

которого раздавит чужая смерть.

Я не имела права.

Я тянула пулю – и думала о мальчишке. О его белом лице. О пальцах на

плечах умирающего. О том, как устроен мир: одни стреляют, другие —

защищают, а третьи стоят рядом и держат, потому что больше ничего не

умеют. Но это «держать» – иногда важнее всего остального. Потому что

хирург не может работать, если некому держать. И солдат не может

воевать, если некому стоять рядом. И человек не может жить, если некому

– просто быть рядом. Не спасать. Не лечить. Не стрелять. Просто —

быть.

У меня был Костя. Мой «держатель». Человек, который стоял рядом.

И сейчас он лежал где-то в этом доме, без сознания, с кровью из уха, и

его жизнь зависела от того, сумею ли я спасти чужую.

Я сжала пинцет крепче.

Вышла.

Пуля – деформированная, расплюснутая – легла в мою ладонь, и я

почувствовала её вес. Граммов семь. Семь граммов свинца, которые решали

– жить ему или нет. Вся его жизнь – его власть, его люди, его волчья

нора – весила семь граммов. Меньше, чем воробей.

Я положила пулю на стол. Потом – буду думать о филосо-

фии. Сейчас —

кровотечение.

Тампонада. Марля — не стерильная, просто чистая, обли-
тая водкой.

Прижала. Держала. Считала секунды. Тридцать. Шестьде-
сят. Девяносто.

Кровь замедлилась. Не остановилась — замедлилась. Пе-
чень —

паренхиматозный орган, она кровит иначе, диффузно, и
остановить это

полностью без коагуляции невозможно. Но замедлить —
можно. И дать

организму шанс.

Шов. Нитки — обычные, хирургические в этом доме не во-
дились. Вахид

принес катушку шелковых. Шелк. Я буду шить печень
шелковыми нитками.

Если бы кто-то мне сказал об этом вчера — я бы рассмея-
лась. Сегодня

— я вдела нитку в иглу и начала шить.

Стежок. Ещё один. Ещё.

Руки не дрожали. Руки — единственное, что у меня оста-
лось. Всё

остальное — разрушено, похищено, заперто. Но руки —
мои. И они

работали.

Он открыл глаза.

Я не ожидала. После такой кровопотери, после болевого шока – он должен

был быть без сознания. Но он открыл глаза и смотрел на меня. Снизу

вверх. Из ада, через который я его тащила. И в его глазах – в этих

черных, пустых, звериных глазах – было что-то новое.

Не благодарность. Не страх. Не боль.

Изумление.

Как будто он впервые увидел что-то, чего не ожидал. Как будто мир,

который он знал – мир крови, предательства, пустоты – дал трещину.

Маленькую. Тонкую. Но через неё просочился свет, и этот свет его

ослепил.

Он смотрел на меня, и я смотрела на него, и между нами – кровь, его

кровь, на моих руках, на моем лице, в моих волосах. Я была в его крови,

как крещение наоборот. Не в воду – в кровь. Не к свету – в темноту.

И эта темнота была теплой. Живой. Пульсирующей.

– Не двигайся, – сказала я. – Я не закончила.

Он закрыл глаза. Подчинился.

И я подумала: вот оно. Вот момент, который меняет всё.
Не слова. Не

решения. Не клятвы. Момент, когда один человек подчиняется другому —

не из страха, не из слабости. А потому что доверяет. Вслепую. На ощупь.

Как ребенок, который падает с высоты и не группируется, потому что верит

– поймают.

Он не знал, поймаю ли я.

Я не знала, хочю ли ловить.

Но руки – мои проклятые, верные, окровавленные руки – уже ловили.

Бедро. Ревизия раны – мышечная ткань разворочена, но сосуды целы, жгут

сделал свое дело. Обработка, дренаж из резиновой трубки, шов. Плечо —

промывка, тампонада, повязка. Голова – обработка, бинт.

Три часа.

Три часа я стояла над ним, согнувшись над этим чёртовым столом, и шила.

Стежок за стежком. Как мама когда-то шила мне платье на выпускной —

ровно, аккуратно, с любовью к каждому миллиметру ткани. Только мама шила

шёлк. А я – плоть.

Когда закончила – руки отказали. Не фигурально – буквально. Пальцы

свело судорогой, и я не могла их разжать. Стояла над ним с руками,

скрюченными как когти, и смотрела на свою работу.

Жив.

Дышит. Пульс – слабый, нитевидный, но ровный. Кровотечение

остановлено. Швы – держат. Температура – высокая, но это нормально,

это тело борется.

Жив.

Я отошла от стола. Два шага. Три. Ноги подкосились, и я села на бетонный

пол, и холод прошиб через штаны, через кожу, через мышцы, до костей. И я

сидела на этом полу, в луже чужой крови, с руками, которые не слушались,

и смотрела в потолок.

Потолок был серый. С трещиной. Трещина шла от угла к лампе —

извилистая, тонкая, как река на карте. Я смотрела на неё и думала: три

часа назад я ехала в колонне. У меня была жизнь. Понятная, жёсткая, но

моя. Операционная. База. Кружка Кости с четырьмя лож-

ками сахара. Теперь

– подвал. Чужой мужчина на столе. Кровь на полу. И я.

Кто я теперь?

Капитан Вершинина? Нет. Капитан Вершинина осталась
в перевернутой

санитарке на горной дороге. Сюда привезли кого-то дру-
гого. Женщину с

разбитым лицом и руками, которые спасают. Без звания.
Без армии. Без

дома.

Женщину, которая только что вытащила с того света че-
ловека, и не знает

– зачем.

Нет. Знает. Потому что это – единственное, что она умеет.

Единственное, что делает её живой. Без скальпеля, без ра-
ны, без чужой

крови – она пустая оболочка. Функция без функции. Ме-
ханизм, из

которого вынули шестеренки.

Я спасла его не из милосердия. Не из долга. Я спасла его,
потому что

если бы не спасла – потеряла бы последнее, что у меня
есть. Себя.

Вахид вошёл. Посмотрел на него. Посмотрел на меня – на
полу, в крови,

с пустыми глазами.

– Он будет жить?

– Если не будет инфекции. – Мой голос был хриплый, чужой. – Мне

нужны антибиотики. Цефтриаксон, метронидазол, что угодно широкого

спектра. Обезболивающее – кеторол, трамадол. Капельницы —

физраствор, глюкоза. Перевязочный материал. Стерильный.

Он кивнул. Помолчал. Потом:

– Будет.

– И мой напарник. Где он?

Молчание.

– Где мой напарник?!

Мой голос сорвался. Впервые за эту ночь – сорвался. Потому что Костя

был единственной ниточкой, которая связывала меня с тем миром, где я

была человеком. Если эту нить обрежут – я останусь здесь навсегда. Не

физически – внутренне. Я стану частью этого подвала, этого стола, этой

крови. Растворюсь.

Вахид смотрел на меня – спокойно, оценивающе. Как смотрят на

инструмент: работает или нет. Пригоден или списать.

– Он жив. И останется жив, пока ты делаешь свою работу.
Вот так.

Просто. Чисто. Без обиняков.

Костя – заложник. Гарантия моего послушания. Пока я лечу – он дышит.

Перестану – перестанет.

Меня затошнило. Не от крови – от крови меня давно не тошнит. От

понимания. Четкого, хирургического, безжалостного понимания: я —

пленница. Не гостья, не врач, не союзник. Пленница. С руками, которые

нужны. И с другом, которого держат как страховку.

Я могла сломаться. Имела право. Три часа операции, хищение, кровь,

усталость, страх за Костю – любой бы сломался.

Я не сломалась.

Не потому что сильная. Потому что ломаться – это роскошь. Роскошь

людей, у которых есть кто-то, кто подберёт осколки. У меня – некому.

Мама мертва. Отец мертва. Андрей мертва. Костя – заложник. Я – одна. И

одинокость – это не слабость. Одинокость – это бетон, из которого

построена моя стена. Не красивый, не теплый. Но проч-

ный.

Я встала. Ноги тряслись. Подошла к столу. Проверила пульс – ровный.

Дыхание – поверхностное, но стабильное. Зрачки – реагируют.

Будет жить.

Я провела ладонью по лицу – и ощутила корку засохшей крови. Его крови.

На моих щеках, на лбу, в бровях. Я была в нём. Буквально – покрыта им,

как вторая кожа. И эта мысль – не отвращение. Что-то другое. Что-то

первобытное, дикое, не поддающееся определению. Как будто его кровь на

моей коже – это печать, которую нельзя смыть. Отметина. Меня крестили

в его крови, и обратного хода нет.

Этот человек – этот чужой, страшный, изломанный человек с пустыми

глазами и рычанием зверя – будет жить, потому что мои руки решили за

меня. Мои руки выбрали – прежде, чем я успела подумать, нужно ли это

мне. Нужно ли спасти того, кто держит тебя в клетке.

Я вспомнила, как на третьем курсе профессор Левинсон сказал нам на

лекции: «Хирург – это не тот, кто умеет резать. Хирург – это тот, кто умеет решать. Резать может любой. Решать – единицы. И каждое ваше решение – это чья-то жизнь на другой чаше весов».

Я решила. Я отрезала. Я зашила.

И чью-то жизнь – может быть, свою – положила на чашу.

Есть в медицине принцип – *primum non nocere*. Прежде всего – не навреди. Но есть другой, негласный, который не пишут в учебниках: прежде всего – спаси. Даже если не хочешь. Даже если не можешь. Даже если перед тобой человек, который забрал твою свободу и держит твоего друга на прицеле. Спаси. Потому что ты – врач. И это больше, чем ты. Больше, чем обстоятельства. Больше, чем страх, ненависть, боль.

Я врач.

И я спасла.

Я подтянула стул. Села рядом. Положила голову на край стола – рядом с его рукой, которая свисала, тяжелая, неподвижная, с содранными костяшками и старыми шрамами на пальцах. Рука убийцы. Я знала это.

Видела. Эти руки ломали, стреляли, душили. И я положи-
ла голову рядом с
ними и закрыла глаза.

Потому что больше мне негде было положить голову.

И в ту секунду – на грани сна и яви, на грани его жизни
и моей свободы

– я поняла одну простую, страшную вещь.

Я только что привязала свою жизнь к его жизни. Ниткой.
Шелковой ниткой,
которой зашила ему печень.

И развязать её будет больнее, чем всё, что было до.

Глава 4

Алихан

Я очнулся от запаха.

Не крови – к крови я привык, как привыкают к воздуху:
не замечаешь,

пока не кончится. Другой запах. Тонкий, чужой, неумест-
ный в моем доме,

как цветок, проросший сквозь бетон. Что-то чистое. Ме-
дицинское. И под

ним – едва уловимо – женское. Не духи, не мыло. Кожа.
Теплая, живая,
чужая кожа.

Я открыл глаза.

Серый потолок. Трещина от угла к лампе. Моя комната.
Мой дом. Я жив.

Боль пришла следом – как верный пёс, который ждал у
двери, пока хозяин

проснется. Бок – тупая, глубокая, пульсирующая. Бедро
– горячая,

рваная. Плечо – ноющая, терпимая. Голова – тяжёлая, как
чугун.

Четыре вида боли. Четыре голоса, которые орали одно-
временно, и каждый
– своё.

Я поморщился. Повернул голову.

Она спала.

На стуле, рядом с моей кроватью. Голова на краю матраса, щека прижата к

простыне, руки – вытянуты вперед, ладонями вверх, как у человека,

который сдаётся. Или молится. Или просто устал до такой степени, что

телу плевать, как выглядеть.

Руки. Я смотрел на её руки.

Маленькие. Узкие ладони, длинные пальцы – пальцы пианистки, если бы

пианисты ковырялись в чужих кишках. Под ногтями – бурая полоса. Моя

кровь. Въелась так глубоко, что водой не смоешь. Нужно скрести. Или

ждать, пока сойдет сама – с кожей, с клетками, с верхним слоем того,

кем она была до вчерашней ночи.

Она спасла мне жизнь.

Я лежал и думал об этом – медленно, тяжело, как человек, который

заново учится пользоваться мозгом после того, как четыре пули пытались

его выключить. Она спасла мне жизнь. Женщина. Русская. Федеральная. Враг

– по определению, по крови, по всему, чему меня учила война. Враг

вытащил из меня пулю рыбным пинцетом и зашил печень шелковыми нитками.

Враг заснул у моей кровати, потому что не было сил дойти до своей.

Мир – больная шутка. Я всегда это знал. Но сейчас – знал особенно

остро.

Я смотрел на неё и пытался понять. Не её – себя. Что я чувствую.

Что-то шевелилось внутри, в том месте, где давно было пусто. Как шорох в

заброшенном доме – не знаешь, крыса или призрак. Не знаешь – и не

хочешь знать.

Благодарность? Может быть. Я не привык благодарить. В моём мире люди

делают вещи, потому что обязаны. Потому что приказано. Потому что иначе

– последствия. Благодарность – роскошь для тех, кто может позволить

себе быть слабым. Я – не мог. Никогда не мог.

Но эта женщина не была обязана. Ей не приказывали. Её притащили —

избитую, в крови, в чужой дом – и она встала к столу и

работала три

часа. Три часа. Я знаю цену трём часам. За три часа можно
взять

укрепленный дом. Сжечь село. Пройти двадцать километров по горам. Или

– вытащить человека из смерти.

Она выбрала последнее.

Почему?

Вопрос крутился в голове, как заевшая пластинка. Почему? Она могла дать

мне умереть. Приложить тампон, сделать вид, что старается, подождать —

и всё. Я бы истёк кровью на том столе, и её бы отпустили.

Зачем держать

хирурга, если пациент мёртв? Вахид – прагматик. Он бы отвёз её обратно

и бросил на дороге. И она бы вернулась к своим. К своей базе, к своей

операционной, к своему чаю с четырьмя ложками сахара.

Я слышал, как она

просила – сквозь бред, сквозь кровавую пелену. Четыре ложки. Кто пьёт

чай с четырьмя ложками сахара?

Она могла дать мне умереть – и вместо этого зашила мне печень.

Я не понимал.

И это бесило.

Я привык понимать людей. Это мое оружие – не автомат, не нож.

Понимание. Я смотрю на человека и вижу, чего он хочет, чего боится, что его сломает. Читаю людей, как Коран – суру за сурой, аят за аятом.

Вахид – верен, но его верность привязана к силе. Пока я сильный – он мой. Ослабну – и он будет «решать». Тимур – предан, но слеп. Он

видит во мне отца, которого потерял, и эта слепота когда-нибудь его

убьёт. Хасан – ненавидит, но терпелив. Ждёт. Как паук в углу. Двадцать

лет ждал – и дождался.

Я читал каждого. Каждого – кроме неё.

Она спала, и её лицо было открытым, незащищённым, как бывает только во

сне – когда маски падают и остаётся то, что под ними. Ссадина на скуле

уже потемнела, губа опухла, под глазами – тени, глубокие, синеватые,

от усталости, которая копилась не одну ночь. Не красивое лицо. Не

уродливое. Лицо, которое много видело. Слишком много

для женщины.

Слишком много для любого живого человека.

Она вздохнула во сне. Пальцы дёрнулись – рефлекс. Наверное, ей снилась

операция. Хирурги, говорят, продолжают оперировать во сне. Как солдаты

продолжают стрелять. Война не отпускает. Ни тех, ни других.

Мы – одинаковые.

Мысль пришла ниоткуда и ударила под дых. Мы – одинаковые. Она – со

своим скальпелем. Я – со своим автоматом. Она режет, чтобы спасти. Я

стреляю, чтобы защитить. Она теряет людей на столе и носит их лица в

голове. Я теряю людей в бою и слышу их голоса по ночам. Она заколотила

комнаты внутри, чтобы не сойти с ума. Я – залил их бетоном.

Мы – по разные стороны одной и той же войны. И она только что перешла

на мою сторону. Не по своей воле. Но перешла.

Дверь открылась. Вахид.

Он вошёл тихо – для своих габаритов двигался как кошка. Посмотрел на

меня. Посмотрел на неё. Его лицо не изменилось – но я

видел. Видел

ть в глазах. Вахид не одобрял. Чужая женщина у кровати главы – это

разговоры, это шёпот за спиной, это слабость, которую люди почуют, как

волки чуют кровь.

– Как ты? – спросил он.

– Живой. – Мой голос был чужим. Хриплый, ломкий, как ржавый замок.

– Докладывай.

Вахид сел на край стула у стены. Она не проснулась – провалилась так

глубоко, что и выстрел бы не поднял.

– Колонну мы положили. Семеро двухсотых, трое трёхсотых – наших нет.

Чисто. Документы, оружие, медикаменты – забрали всё. Машины – в

ущелье. Через неделю их найдут. Может, две.

Семеро. Семь мёртвых русских солдат. Мальчишек, может быть, —

двадцатилетних, призывных, с мамами в Рязани и Костроме, которые завтра

получат звонок или не получают ничего, потому что тела найдут нескоро, а

может – не найдут никогда.

Я не чувствовал вины.

Должен был? Может быть. Нормальный человек – должен.
Но я перестал
быть нормальным в четырнадцать лет, когда убил ровесника и смотрел, как
тот затихает, и ничего не чувствовал, кроме облегчения,
что затихает —
он, а не я.
Война отрезает от тебя куски. По одному. Сначала – страдание к
чужим. Потом – жалость к себе. Потом – страх. Потом – что-то ещё,
чему нет названия, что-то тёплое и мягкое, что жило в груди, когда тебе
было пять лет и отец подбрасывал тебя к небу. Она отрезает это – и ты
даже не замечаешь. Как не замечаешь, когда немеет палец: смотришь —
палец на месте, но ничего не чувствует. Мёртвый палец на живой руке.
Я был полон мёртвых пальцев.
– Хасан? – спросил я.
– Молчит. Ждёт. Думает, что ты мёртв. Или при смерти.
– Хорошо. Пусть думает.
– Есть проблема. – Вахид помолчал. – Хирург. Она – капитан.
Военнослужащая. Её будут искать.

– Не скоро.

– Но будут.

– Знаю.

Я посмотрел на неё. На её руки. На кровь под ногтями.

– Она остаётся.

Вахид не двинулся. Не кивнул. Не возразил. Он смотрел на меня – и в

его взгляде я читал вопрос, который он никогда не задаст вслух. «Зачем?»

Зачем. Хороший вопрос. Правильный. Стратегический.

Я мог бы ответить стратегически. Мог бы сказать: она – ценность.

Хирург. Единственный на сотню километров. Пока идёт война с Хасаном —

мои люди будут получать пули. И умирать, потому что некому достать эти

пули из их тел. А она – может. Она доказала. Три часа, кухонный стол,

рыбный пинцет. Если она смогла это в подвале – что она делает с

нормальным оборудованием?

Стратегия. Логика. Прагматизм. Алихан Шамхаев – прагматик. Алихан

Шамхаев – не принимает решений, основанных на чувствах. Потому что

чувства – это роскошь, а роскошь в горах не живёт.

Но.

Было «но». Маленькое, тихое, как шорох в заброшенном доме.

Она не побоялась.

Вот и всё. Вот – причина, которую я не мог произнести вслух. Не мог

– потому что она была слишком простой. Слишком человеческой. Слишком опасной.

Она не побоялась. Её притащили в мою нору – избитую, похищенную,

одинокую – и она не заплакала. Не закричала. Не упала на колени. Она

посмотрела на меня – на умирающего зверя, окружённого стаей – и

сказала: «Свет, вода, спирт, нитки. Сейчас.»

Я прожил тридцать три года. Командовал людьми с девятнадцати. Видел, как

мужчины – сильные, обученные, вооружённые мужчины – ломались от

одного моего взгляда. Падали на колени. Молили. Предавали. Бежали.

Она – стояла.

И это перевернуло что-то внутри. Тяжёлое, каменное, что лежало на своём

месте пятнадцать лет и не двигалось. Она сдвинула это –

не руками, не
словами. Тем, что не побежала. Тем, что стояла. Тем, что
её маленькие

окровавленные пальцы залезли в мою развороченную
плоть и вытащили пулю,
и не дрогнули. Ни разу.

Я видел много храбрости. На войне храбрость – как грязь:
езде. Но её

храбрость была другой. Тихой. Рабочей. Без позы, без ге-
роизма, без

взгляда в камеру. Она просто делала то, что умела, – в аду,
который

она не выбирала. И делала это безупречно.

– Она остаётся, – повторил я.

Вахид встал.

– Её напарник. Фельдшер. Сотрясение, трещина в височ-
ной кости. Придёт

в себя. Что с ним?

Я думал три секунды. Три секунды – это вечность, когда
решаешь чужую

судьбу.

– Оставить. Он – её привязка. Пока он здесь – она рабо-
тает. Пока

она работает – мои люди живут.

Вахид кивнул. Вышел.

Прагматизм. Чистая, стерильная логика. Человек – рычаг.

Человек —

инструмент. Человек — функция.

Я был мастером этого языка. Я говорил на нём двадцать лет. Люди —

фигуры. Доска — территория. Ходы — решения. Эмоции — помеха. Всё

просто. Всё чисто. Всё — под контролем.

Но.

Снова это «но». Проклятое, тихое, как сверчок за стеной, которого не

найдёшь, но и не заглушишь.

Я смотрел на неё — спящую, измотанную, с моей кровью на руках — и

знал: я вру. Себе. Вахиду. Всем.

Она остаётся не потому что хирург. Не потому что стратегия. Не потому

что логика.

Она остаётся, потому что когда она спит у моей кровати — мне впервые

за пятнадцать лет не снятся мёртвые.

Она остаётся, потому что я смотрю на её руки и думаю: эти руки были

внутри меня. Буквально. Физически. Эти пальцы держали мою печень.

Трогали мои рёбра. Были там, куда никто никогда не падал — не в

переносном смысле, в буквальном. Она была внутри меня
– глубже, чем
любая женщина, глубже, чем любой нож, глубже, чем лю-
бая пуля. И от этой
мысли что-то сжималось в горле, и пересыхало во рту, и
ломило в груди
– не там, где раны. Глубже. Там, где я считал, что ничего
нет.

Оказалось – есть.

Она пошевелилась. Вздохнула. Медленно открыла глаза –
мутные,
потерянные, глаза человека, который не помнит, где он,
и боится
вспомнить.

Вспомнила. Я видел, как это произошло – мгновенный
удар, как
электричество по позвоночнику. Её тело напряглось,
пальцы сжались, и на
лице – секунду, только секунду – был ужас. Настоящий,
голый,

беззащитный. Потом – щёлк. Маска. Та самая маска, ко-
торую я видел
вчера на крыльце: спокойная, собранная, непроницаемая.
Она умела прятаться. Как я.

Наши глаза встретились. Я – лёжа, она – сидя. Я – в бинтах
и

крови. Она – в засохшей крови и усталости. Между нами – двадцать

сантиметров простыни и пропасть, которую не измерить.

– Как вы себя чувствуете? – спросила она.

Профессионально. Ровно. Голос врача. Не женщины, не пленницы, не

человека – врача. Она надела белый халат, которого на ней не было, и

стала тем, кем умела быть лучше всего.

Я хотел ответить «хреново». Хотел сказать: «Четыре дырки в теле,

температура, наверное, под сорок, и я чувствую каждый твой шёлковый

стежок, как будто ты зашила мне нервы наружу». Хотел – но не стал.

Потому что жаловаться – это тоже слабость. А я и так показал

достаточно.

– Ты остаёшься, – сказал я.

Не «спасибо». Не «ты спасла мне жизнь». Не «как тебя зовут». Приказ.

Холодный, плоский, безапелляционный. Слово командира, которое не

обсуждается.

Зачем?

Потому что «спасибо» – это начало. Начало чего-то, что

я не мог себе

позволить. Если я скажу «спасибо» – я признаю, что должен. Если я

признаю долг – я признаю, что она для меня что-то значит.

А если она

для меня что-то значит – я уязвим. А уязвимость в моём мире – это не

слабость. Это приглашение. Открытая дверь, в которую войдёт тот, кто

хочет тебя уничтожить. Хасан. Вахид. Любой.

Поэтому – приказ. Поэтому – «ты остаёшься». Поэтому – стена.

Высокая, толстая, бетонная. Как те стены, которыми я обнёс свой дом.

Она смотрела на меня. Долго. Не мигая. И в её глазах – в этих серых,

усталых, выжженных глазах – я видел, как она считывает меня. Как

хирург считывает рентген. Кости, трещины, смещения. Она видела мою

стену. Видела, что за ней – пустота. И видела, что пустота – не

пустая.

– Нет, – сказала она.

Тишина.

Мои люди – те, что за дверью, те, что во дворе, те, что на

вышках —

ни один из них ни разу в жизни не сказал мне «нет». Ни один. За

четыренадцать лет. Слово, которого не существовало в моём словаре. Слово,

которое я вычеркнул, как вычёркивают имя предателя из списка живых.

Она сказала «нет».

И мир не рухнул. И небо не упало. И я не приказал её увести, запереть,

наказать.

Я лежал и смотрел на неё — на эту женщину, которая говорила «нет»

человеку, от одного имени которого бледнели мужчины с автоматами, — и

внутри меня что-то треснуло. Тихо. Как лёд на реке в марте. Ещё не тает.

Ещё держит. Но трещина — есть. И вода под ней — чёрная, живая,

страшная.

— Нет? — переспросил я. Не потому что не услышал. Потому что хотел

услышать ещё раз. Хотел убедиться, что мне не мерещится. Что эта женщина

— на самом деле — смотрит мне в глаза и отказывает.

— У меня есть имя, — сказала она. — Людмила Вершинина.

У меня есть
звание. Капитан. У меня есть напарник, который ранен. И
у меня есть
право знать, что происходит. Вы не покупали меня. Не вы-
игрывали. Я
спасла вам жизнь – не по контракту, не по приказу. Пото-
му что я врач.
И прежде чем вы будете решать мою судьбу – вы объяс-
ните мне, какого
чёрта здесь происходит.
Каждое слово – как пуля. Точная. В цель. Без промаха.
Я смотрел на неё и думал: ты или самая храбрая женщина,
которую я
встречал. Или самая безумная. Или – и то, и другое. И от
этого
сочетания – храбрости и безумия, силы и уязвимости,
крови под ногтями
и «нет» в лицо – меня выворачивало. Физически. Мураш-
ки – от затылка
до поясницы, волной, горячей, колючей. Пересохло в гор-
ле. И сердце —
моё проклятое, контуженное, зарубцованное сердце – сде-
лало что-то,
чего не делало очень давно.
Пропустило удар.
Один. Маленький. Незначительный. Сбой в ритме, кото-

рый кардиолог списал

бы на аритмию, а я – знал, что это не аритмия.

Это – начало.

Начало чего-то, что я не мог контролировать. Не мог остановить. Не мог

залить бетоном и забыть.

Потому что она сидела передо мной – с моей кровью под ногтями, с огнём

в глазах – и не боялась.

И я – впервые за пятнадцать лет – боялся.

Не её.

Себя.

Того, кем я мог стать рядом с ней. Того, что она могла вытащить из-под

бетона. Того живого, тёплого, опасного, что я похоронил, когда похоронил

отца, братьев и мать. Я похоронил это – и поставил надгробие, и

написал: «Здесь лежит Алихан, который умел чувствовать. Покойся с миром».

А она пришла – с пинцетом от рыбных костей – и начала копать.

– Ты остаёшься, – сказал я в третий раз. Тише. Глуше. Почти —
просьба.

Она не ответила. Встала. Подошла. Положила пальцы мне на запястье —

проверить пульс. Профессионально. Точно. Без лишних касаний.

Но её пальцы были тёплыми. И мой пульс под ними — я знал, я чувствовал

— был быстрым. Слишком быстрым для человека, который просто лежит.

Она заметила. Я видел — заметила. Но не сказала ни слова. Записала

что-то в воображаемую карту — ту, что хранила в голове, потому что

бумаги не было.

— Вам нужен покой, — сказала она. — Антибиотики. Капельница.

Неподвижность минимум неделю. Если шов на печени разойдётся — я не

смогу зашить повторно. Не в этих условиях.

— Я понял.

— Нет. Не поняли. — Она наклонилась ближе. Её глаза — серые,

холодные, безжалостные — были в двадцати сантиметрах от моих. — Вы

привыкли, что ваше тело — инструмент. Встал, пошёл, приказал, убил.

Так вот: ваш инструмент сломан. Четыре отверстия, по-

вреждение печени,

кровопотеря – литра полтора минимум. Вы сейчас слабее грудного

ребёнка. И если вы попытаетесь встать, отдать приказ или изобразить

волка – швы разойдутся, и вы умрёте. Быстро. Больно. Глупо. Мне будет

жаль нитки.

Мне будет жаль нитки.

Я смотрел на неё – на эту женщину, которая только что назвала меня

слабее грудного ребёнка и пожалела нитки – и почувствовал, как моё

лицо делает что-то странное.

Я улыбнулся.

Не усмехнулся – как вчера, на крыльце. Улыбнулся. По-настоящему. Губы

– разъехались сами, против воли, против стены, против всего. И это

было так непривычно, так больно физически – как улыбаться разбитым

лицом – что я тут же сжал челюсть и убрал.

Но она видела.

И в её глазах – на секунду, на крохотную долю секунды – мелькнула

растерянность. Как будто она увидела что-то, чего не ожи-

дала. Что-то,

что не вписывалось в её рентген. В её диагноз. В её картину мира, где я

– зверь, а она – пленница.

Она выпрямилась. Отступила на шаг. Снова стала доктором – собранной,

закрытой, профессиональной.

– Я осмотрю вашего раненого, – сказала она. – Того, молодого.

Тимура.

– Тимур не ранен.

– У него шок. Я видела его лицо, когда работала. Он никогда не видел

хирургического вмешательства. Если его не поддержать – он сломается

тихо, и вы не заметите.

Она заботилась о моих людях. Женщина, которую я держал в плену, —

заботилась о моих людях.

Я закрыл глаза. Не потому что устал. Потому что смотреть на неё было

больнее, чем четыре пули.

Пули – это понятно. Металл, свинец, физика. Входное, выходное, калибр.

Я знаю, как работают пули. Я живу с ними двадцать лет.

А вот как работает женщина, которая говорит «нет» и жа-

леет нитки, – я

не знал.

И это было страшнее любой войны.

Она вышла. Дверь закрылась. Шаги по коридору – быстрые, лёгкие,

военные. Шаги человека, который знает, куда идёт, даже если идёт в

темноте.

Я лежал. Смотрел в потолок. Трещина от угла к лампе.

И думал: она назвала своё имя.

Людмила.

Я не буду называть её так. Не буду. Потому что имя – это близость. А

близость – это дверь, которую нельзя открывать.

Доктор. Она – доктор. Функция. Инструмент. Ценность.

Не человек. Не

женщина. Не Людмила.

Доктор.

Так безопаснее.

Так – я выживу.

Но трещина на потолке смотрела на меня, как усмешка.

Как будто дом знал

то, чего я ещё не знал.

Что безопасности – больше нет.

Глава 5

Людмила

На третий день я перестала считать повороты замка.

Первый день – считала. Щелк – закрыли. Щелк – открыли.

Принесли

еду. Щелк – закрыли. Щелк – открыли. Перевязка. Щелк – закрыли.

Шесть раз. Шесть щелчков – шесть напоминаний: ты не человек. Ты —

содержимое. Вещь за дверью, которую выпускают по расписанию.

Второй день – считала, но со злостью. Каждый щелчок – удар по

нервам, по хребту, по тому месту внутри, где жила гордость. Я —

капитан. Военный хирург. Я оперировала под обстрелом, ампутировала ноги

при свете фонарика, вытаскивала мальчишек с того света. А теперь —

сiju в комнате три на четыре и жду, когда щелкнет замок.

Третий день – перестала. Не потому что смирилась. Потому что злость

– это топливо, и оно кончается. А мне нужно было экономить. Каждую

каплю. Каждый грамм себя. Потому что я не знала, сколько мне здесь быть
– день, неделю, год. И если я выжгу себя злостью за первую неделю —
потом останется пепел. А пепел не оперирует.
Комната. Маленькая, чистая – кто-то побелил стены недавно, известка
еще пахла. Кровать – железная, армейская, с пружинным матрасом,
который скрипел при каждом движении. Стул. Стол – деревянный, старый,
с кольцами от кружек. Окно – узкое, с решеткой, выходит на горы. Горы
были красивые. Снежные вершины, зелень ниже, утренний туман в ущельях.
Красивые – как витрина, за стеклом которой ты не можешь потрогать
товар.
Красота, на которую можно только смотреть, – самая жестокая из тюрем.
Костю держали через стену. Я слышала его – голос, кашель, шаги. Иногда
– мат. Значит, живой. Значит, в сознании. Значит, злится.
Костин мат
был моим барометром: чем грязнее – тем лучше ему.
На второй день мне разрешили его увидеть. Пять минут,

под присмотром

того молчаливого здоровяка, который всюду таскался с автоматом и смотрел

на меня, как на кошку – без интереса, без злости, с терпеливой

пустотой конвоира, который делает свою работу.

Костя сидел на кровати. Голова забинтована – мой бинт, моя работа, я

перевязала его в первую же ночь, когда мне дали десять минут. Лицо —

бледное, осунувшееся, вокруг глаз – синяки, какие бывают при переломе

основания черепа. Но глаза – живые. Злые. Костины.

– Людка, – сказал он, и у меня сжалось в груди. Так сжалось, что

ребра заныли, как будто их стянули проволокой.

– Маркелов.

– Ты цела?

– Цела.

– Врешь.

– Вру. Но целее, чем ты. Как голова?

– Как арбуз, в который засунули отбойный молоток. Звонит. Двоится. Но

я – красавчик, мне идет.

Я села рядом. Он взял мою руку. Стиснул. Сильно – для человека с

трещиной в черепе.

– Людка, – сказал он тихо. Серьезно. Без шуток. – Они нас убьют?

– Нет.

– Откуда знаешь?

– Потому что я им нужна. А пока я им нужна – мы живые.

– А когда перестанешь быть нужна?

Я не ответила. Потому что ответ он знал. И я знала. И молчание между

нами было громче любых слов.

Он сжал мою руку крепче.

– Я тебя отсюда вытащу. Слышишь? Я придумаю. Мне нужно время.

– Тебе нужно лежать и не двигать головой.

– Плевать на голову. У меня две, запасная в штанах. Люд-ка, не смей

раскисать.

Я улыбнулась. Или попыталась – мышцы лица не слушались, как будто

забыли, как это делается.

– Я не раскисаю.

– Ты всегда так говоришь. А потом – молчишь неделю, не ешь, не

спишь, и у тебя глаза как у мертвой рыбы. Я тебя знаю.

Он меня знал. Лучше, чем кто-либо. Три командировки вместе – это

больше, чем брак. Это кровь, грязь, бессонница, адреналин. Мы не спали

вместе – ни разу, хотя все на базе думали иначе. Мы были чем-то

другим. Чем-то, для чего нет слова в русском языке. Не дружба —

слишком мелко. Не любовь – не та частота. Что-то между. Как два

солдата в одном окопе: ты не любишь его, не дружишь с ним – ты им

дышишь. Он – часть твоего воздуха. Убери его – и ты задохнёшься.

– Пять минут, – сказал конвоир от двери.

Я встала. Костя не отпустил руку.

– Людка. Одно слово. Тот, кого ты зашила. Он – что?

– Глава. Местный. Криминал. Его расстреляли свои.

– И ты его спасла.

– Да.

– Зачем?

Тот же вопрос. Все задают один и тот же проклятый вопрос. Зачем. Как

будто у врача бывает «зачем». Как будто можно стоять над человеком, из

которого хлещет кровь, и рассуждать – достоин он жизни или нет.

– Потому что он умирал, Костя.

– Перед тобой умирали и раньше. Не всех спасала.

– Не всех могла. Его – могла.

Он посмотрел на меня. Долго. Так, как смотрел, когда я
лгала и он это

видел.

– Ладно, – сказал наконец. – Ладно, Людка. Спасай. Но
себя —

тоже. Договорились?

– Договорились.

Я вышла. Дверь за мной закрылась. Щелк.

Костя не видел моего лица в коридоре. Не видел, как я
прислонилась к

стене и зажала рот рукой, и дышала через пальцы – рвано,
неровно, со

свистом. Не видел, как по щекам текло – не слезы, нет, я
же не плачу,

я разучилась, – просто вода. Физиология. Стресс. Гормо-
ны. Что-то

медицинское и объяснимое, что не имеет никакого отно-
шения к тому, что

внутри меня всё сжалось в кулак и этот кулак бил по рёб-
рам изнутри, и

мне было страшно. По-настоящему, по-детски, до тошно-
ты страшно.

За Костю. Не за себя – за него. Потому что я – функция.
Я нужна. А

он – заложник. Расходный материал. Гарантия с истекающим сроком годности. И если что-то пойдет не так – если я ошибусь, если откажу, если этот человек с пустыми глазами решит, что я больше не стою хлопот,
– Костю уберут. Тихо. Быстро. Без бюрократии. Пуля в затылок на горной дороге, и тело – в ущелье, и никто никогда не найдет. Я не могла этого допустить. Я выпрямилась. Вытерла лицо. Пошла вниз – к нему. Перевязки. Два раза в день. Утро и вечер. Это был мой ритуал, мой якорь, единственная структура в мире, который рассыпался. Я приходила. Снимала бинты. Осматривала швы. Меняла дренаж. Накладывала новую повязку. Профессионально. Молча. Руки – стабильные. Лицо – маска. Он лежал и смотрел на меня. Каждый раз. Всю перевязку. Не на мои руки – на лицо. Как будто искал что-то. Как будто пытался прочитать шифр, к которому не подобрал ключ. Я не давала ему ключ. Я была стеной. Гладкой, ровной, без единой

трещины. «Температура?» – «Тридцать восемь и два». – «Пульс?» —

«Семьдесят шесть». – «Боль?» – «Терпимо». Каждый раз – «терпимо».

Я могла бы вколоть ему обезболивающее – Вахид привез из города целый

ящик. Но он отказывался. Каждый раз. «Терпимо», – и стиснутые зубы, и

белые костяшки на простыне, и пот на висках.

Он терпел боль как наказание. Как то, что заслужил. Я видела таких —

на войне. Солдаты, которые отказываются от морфина, потому что считают,

что боль – это плата. За выживших. За мертвых. За то, что ты —

здесь, а они – нет. Боль как валюта, которой расплачиваешься перед

богом или совестью. Или перед мертвыми, которые смотрят из темноты и не

обвиняют – просто смотрят.

Он был из таких.

И от этого – от этого молчаливого, звериного терпения – что-то

внутри меня разжималось. Против воли. Против рассудка. Против всего, что

кричало: «Он – похититель. Он держит тебя в клетке. Он

– враг».

Я знала, что он враг. Голова – знала. Но руки, которые каждый день

меняли его бинты и касались его кожи – горячей от температуры,

натянутой на рёбра, покрытой шрамами, старыми и новыми, как карта его

жизни, – руки знали что-то другое. Руки знали, что под этой кожей —

живой человек. Раненый. Сломанный. Опасный – да. Но живой. И они не

могли его не лечить. Как не могли не дышать.

На пятую ночь он кричал.

Я проснулась от звука – глухого, утробного, нечеловеческого. Рычание,

переходящее в вой, как будто кто-то рвал ткань – грубую, плотную – и

ткань не поддавалась. Я подскочила на кровати, сердце врезалось в горло,

и секунду – одну – думала: убивают. Кого-то убивают. Здесь. Сейчас.

Потом поняла.

Это шло из его комнаты. Через стену. Через пол. Вибрацией – через

бетон, через матрас, через мои кости.

Кошмары.

Я знала этот звук. Слышала его на базе – от парней, которых привозили

«оттуда». Из боев, из плена, из мест, про которые не рассказывают. Они

кричали по ночам – имена мёртвых, приказы, обрывки молитв. А утром —

молчали и не помнили. Или помнили, но не говорили. Потому что ночь —

это единственное место, где сильные люди позволяют себе сломаться.

Я встала. Босиком, в его – его – футболке, которую мне дали вместо

формы, потому что моя была одноразовая после той ночи. Подошла к двери.

Дёрнула. Заперто. Конечно заперто.

Стояла и слушала.

Он кричал имена. Хусейн. Султан. Имена, которые ничего мне не говорили

– но от интонации, от того, как он их произносил – с надрывом, с

нежностью, с болью, которую невозможно сыграть, – у меня заныло в

груди. Не за себя. За него. За человека, которого я зашила и который

кричит во сне, потому что наяву не может.

Есть вещи страшнее тюрьмы. Страшнее пуль. Страшнее

войны. Есть человек,

который несёт своих мертвых внутри – как беременная носит ребёнка.

Только ребёнок – живой и рвётся наружу. А мёртвые – мёртвые и рвутся

внутри. Глубже. Тяжелее. Пока не раздавят.

Он замолчал. Резко, как обрубили. Я стояла у двери и слушала тишину.

Потом – шаги. Тяжёлые. Неровные. Он встал. С четырьмя дырками в теле,

с моим запретом двигаться, с температурой тридцать восемь – встал. И

ходил. Туда-сюда. Как зверь в клетке. Как волк, который мечется по

вольеру и бьётся о решетки.

Мы оба – в клетках. Он – в своей, я – в своей. И стена между нами

– тонкая, бетонная, холодная. Я прижала ладонь к стене.

Бетон был

шершавый и ледяной. И где-то по ту сторону – он ходил, и его шаги

отдавались в моей ладони, как пульс.

Я считала его шаги. Семь в одну сторону. Семь в другую.

Комната —

примерно такая же, как моя. Три на четыре. Семь шагов – его шагов,

длинных, тяжёлых – от стены до стены. Клетка.

Мы оба мерили свои клетки шагами. Только его клетка была больше – дом,

горы, территория. А по сути – та же коробка. Те же стены.

Та же

невозможность уйти. Он не мог уйти от своей войны, как я – из этой

комнаты. Разница – в масштабе. Суть – одна.

Знаете, что самое странное в плену? Не страх. Не голод. Не унижение.

Самое странное – тишина. Та тишина, которая наступает, когда отнимают

всё внешнее: работу, расписание, коллег, телефон, право выйти на улицу.

Когда всё это исчезает – ты остаёшься наедине с собой. И выясняется,

что «сам с собой» – это самая страшная компания на свете. Потому что

ты – единственный человек, от которого нельзя сбежать. И все те вещи,

от которых ты убегал годами, – мёртвые лица, пустые комнаты,

незаданные вопросы, – они приходят. Сядут рядом. И молчат. И в их

молчании больше слов, чем во всех книгах мира.

Андрей приходил. Каждую ночь. Не во сне – я почти не

спала. Он

приходил в тишине. Я лежала на скрипучей кровати и видела его лицо —

не мёртвое, живое. Как он улыбался. Как шурился на солнце. Как говорил:

«Людка, ты слишком серьёзная. Улыбнись. Мир не такой страшный, как ты думаешь».

Мир оказался страшнее.

И я не улыбнулась.

Я стояла так долго. Минуту. Пять. Не знаю. Время в клетке течёт иначе

– густое, тягучее, как мёд. Или как кровь, которая не хочет останавливаться.

Утром я пришла на перевязку. Он сидел на кровати – вопреки моему

запрету, вопреки ранам, вопреки всему. Спина прямая, как палка. Лицо —

серое, осунувшееся. Под глазами – черные круги. Но сидел. Потому что

лежать – это подчиняться. А он не подчиняется. Никому.

Кроме меня. Когда я говорю «ляг» – он ложится. Потому что я —

доктор. А доктор – это не человек. Доктор – это сила, которой нельзя

сопротивляться. Как гравитация. Как смерть.

– Вы не спали, – сказала я. Не вопрос. Констатация.

– Спал.

– Нет. Вы кричали во сне. Потом ходили. Швы на бедре

– покраснение

по краям. Вы нагрузили ногу.

Он посмотрел на меня. В его глазах – на секунду – мелькнуло что-то,

похожее на стыд. Или на злость – на себя, за то, что я слышала. За то,

что кто-то знал о его ночных кошмарах. За то, что стена между нами —

оказалась слишком тонкой.

– Это не твоё дело, доктор.

Доктор. Он звал меня так с первого дня. Не «Людмила».

Не «Вершинина». Не

«капитан». Доктор. Как ярлык. Как бирка на товаре. Безличенно.

Безопасно. На расстоянии.

Я понимала. Я делала то же самое – не звала его по имени.

«Вы». «Ваш

пациент». «Раненый». Как будто между нами – пропасть, и слова —

мосты, которые мы оба не хотели строить.

– Это моё дело, – сказала я и села рядом. Начала снимать бинт с

бедра. – Я вас зашила. Каждый шов – мой. Каждая нитка

– моя

работа. И если вы своими ночными прогулками порвёте то, что я три часа

собирала, – я буду воспринимать это как личное оскорбление.

Он молчал. Я разматывала бинт – аккуратно, слой за слоем. Кожа под

бинтом – горячая, воспалённая, но без гноя. Антибиотики работали. Шов

– держал. Красный, припухший, злой – но держал.

– Имена, – сказала я, не поднимая глаз. – Те, которые вы кричали.

Хусейн. Султан. Кто они?

Тишина. Долгая. Я продолжала работать – промывала, обрабатывала,

накладывала свежую марлю. Мои руки делали своё дело.

Мой рот задал

вопрос, который не имел права задавать. И я ждала – удара, крика,

«уходи», «не твоё дело, доктор».

– Братья.

Одно слово. Тихое. Как камень, брошенный в колодец – летит долго,

потом глухой всплеск, и эхо.

Я подняла глаза. Он смотрел не на меня – в окно. На горы, которые были

его тюрьмой и его домом одновременно.

– Хусейн – старший. Мина. На дороге к школе. Ему было шестнадцать.

Султан – средний. Фугас. Аэропорт. Деятнадцать.

Он говорил – ровно, сухо, как зачитывал рапорт. Дата, место, причина

смерти. Без эмоций. Без дрожи в голосе. Как будто речь шла о чужих

людях. О статистике. О цифрах в графе «потери».

Но я видела его руку. Правую. Она лежала на колене, и пальцы —

медленно, незаметно для того, кто не смотрит – сжимались. Ногти

впивались в ладонь. Белые полумесяцы на коже. Он давил боль в кулак —

физически, буквально, вминал её в собственную плоть, чтобы она не

вырвалась наружу.

Так делают люди, которые разучились плакать.

Так делала я – после Андрея. Стояла в коридоре госпиталя и сжимала

кулаки так, что ногти прокололи кожу, и кровь капала на линолеум, и

медсестра подбежала и закричала: «Вершинина, что с руками?!» А я не

чувствовала. Ничего не чувствовала. Только – сжимала.

– Я не спрашивала, чтобы вас жалеть, – сказала я. Тихо.
Без нажима.

Как говорят с ранеными, которые на грани. – Жалость вам не нужна. И вы её не примете. Я спросила, потому что кошмары – это симптом. А я лечу симптомы. Это моя работа.

Он повернулся ко мне. Медленно. И в его глазах – в этих чёрных, бездонных глазах – я увидела что-то, от чего у меня перехватило дыхание.

Удивление.

Не шок, не злость, не подозрение. Удивление ребёнка, которому впервые сказали правду – не обидную, не сладкую, а просто правду. Без обёртки.

– Ты лечишь кошмары? – спросил он. И в его голосе – на дне, под хрипом, под сталью – была тень. Тень усмешки. Тень чего-то, что при другой жизни могло бы быть юмором.

– Я пытаюсь, – ответила я. – Пока без особого успеха. Пациенты попадаются упрямые.

Он смотрел на меня. Я смотрела на него. И между нами

– на этот

крохотный, невесомый момент – не было стены. Не было «доктора» и

«раненого». Не было клетки, замка, автоматов за дверью.

Были два

человека, которые слишком много потеряли и слишком мало спали, и у обоих

болело в том месте, которое не зашьёшь нитками.

Потом – щёлк. Внутренний замок. Его. Или мой. Или оба

—
одновременно.

– Заканчивай перевязку, доктор, – сказал он. И отвернулся к окну.

Я закончила. Молча. Быстро. Собрала бинты, инструменты, поднялась.

У двери остановилась. Не знаю зачем. Тело решило раньше головы.

– Ваши братья, – сказала я, не оборачиваясь. – Они приходят во

сне, потому что вы их не отпустили. Вы несёте их – каждый день. И они

– тяжёлые. И с каждым годом – тяжелее.

Молчание.

– Я знаю. Потому что тоже ношу.

Я вышла. Дверь закрылась. Щёлк.

Шла по коридору – и чувствовала его взгляд. Сквозь

дверь. Сквозь

стену. Сквозь бетон и замки, и расстояние, и всё, что мы
выстроили между
собой.

Он смотрел мне в спину.

И от этого взгляда – невидимого, неслышимого, невоз-
можного – у меня

горело между лопаток. Как метка. Как ожог.

Как обещание чего-то, чего я боялась больше, чем плена.

Глава 6

Алихан

На седьмой день я встал.

Не потому что мог. Потому что не мог – не вставать. Семь дней на спине

– это семь дней слабости, которую видят все. Охранники, которые

заглядывали в дверь. Женщины, которые приносили еду. Тимур, который

каждое утро садился у порога и ждал, как пёс, пока я открою глаза.

Вахид, который докладывал – ровно, чётко, без лишних слов – и в

каждом его докладе я слышал то, что он не говорил: «Ты лежишь. Хасан —

стоит. Люди – смотрят. Сколько ещё?»

Сколько ещё.

Вопрос, который не задают вслух. Вопрос, который висит в воздухе, как

дым после выстрела. Власть – не кресло. Не бумага. Не автомат. Власть

– это вертикаль. Ты стоишь – они верят. Ты лежишь – они считают

дни. И где-то на краю этого счёта – точка, после которой

верность

заканчивается и начинается арифметика. Кто сильнее.
Кто выгоднее. Кто
– следующий.

Я не мог позволить им досчитать.

Встал. Ноги – ватные, чужие, как протезы, к которым не
привык. Бок —

огнём, каждый шаг отдавался в печени, и я физически
чувствовал её

шелковые стежки – как струны, натянутые до предела, го-
товые лопнуть.

Бедро – терпимо, если не думать. Плечо – почти не боле-
ло. Голова —

тяжёлая, мутная, но работала.

Оделся. Чёрное – всегда чёрное. Рубашка, штаны, ботин-
ки. Ремень с

кобурой – пистолет, привычная тяжесть на бедре, как рука
старого

друга. Посмотрел в зеркало.

Мертвец.

Серая кожа, провалившиеся щёки, чёрные круги под гла-
зами. Шрам на виске

– свежий, красный, злой. Я потерял килограммов пять –
и без того не

жирный, а теперь – как нож: только лезвие, ничего лиш-
него.

Ничего. Мертвецы – пугают сильнее живых.

Вышел.

Коридор. Лестница. Каждая ступенька – отдельный ад. Я считал их —

четырнадцать. Четырнадцать ступеней. Столько же, сколько мне было, когда

я впервые убил. Совпадение. Или нет. Мир любит такие шутки – жестокие,

симметричные, как пуля, которая входит точно туда, откуда вышла.

Двор.

Утро. Солнце – яркое, бьющее в глаза после недели полутёмной комнаты.

Я щурился и ненавидел солнце – за то, что оно не изменилось. За то,

что мир продолжался, пока я лежал на пропитанной простыне и кричал во

сне имена мертвых. Солнце вставало. Птицы пели. Дети бегали по двору.

Мир – плевал на мою боль. Он всегда плевал. И я – плевал в ответ. У

нас были паритетные отношения.

Люди.

Они увидели меня – и замерли. Как стоп-кадр. Женщина с тазом белья.

Старик на лавке. Двое бойцов у ворот. Тимур – у стены,

с автоматом, с

бинтом на руке, который она ему наложила, – замер с сигаретой на полпути ко рту.

Я стоял на крыльце и смотрел на них. На своих людей. На свою стаю. И они

смотрели на меня – и в их глазах я видел то, ради чего встал.

Страх.

Не передо мной – за меня. Они боялись, что я умру. Боялись – потому

что без меня они остались бы голыми перед Хасаном, перед федералами,

перед миром, который давно забыл, что они существуют. Я – их стена. Их

закон. Их единственная причина верить, что завтра будет похоже на

сегодня.

И я стоял – на ватных ногах, с огнём в боку, с мертвецом в зеркале —

и держал эту стену. На себе. Как держал пятнадцать лет. Потому что

больше – некому.

Тимур подбежал первым. Глаза мокрые – быстро моргнул, спрятал.

– Командир\...

– Обход, – сказал я. – Со мной.

Он кивнул. Закинул автомат на плечо. Пошёл рядом – чуть сзади, чуть

сбоку. Как всегда. Как тень, которая стреляет.

Мы прошли двор. Я шёл медленно – не потому что хотел, а потому что

тело не давало быстрее. Но медленно – это тоже стратегия.

Медленно —

это «я не спешу». «Мне некуда спешить». «Я – здесь, и я – никуда не

денусь». Люди считывали это. Кивали. Опускали глаза – уважение. Или

страх. В моём мире разница между ними – толщиной бумаги.

Усадьба. Мой дом. Моя крепость.

Я строил её пять лет. На руинах старой военной базы – бетон, камень,

арматура. Стены – метровой толщины. Вышки по углам – не декорация,

на каждой дежурит человек с «СВД». Ворота – стальные, на петлях,

которые не вышибет и бэтээр. Внутри – двор, хозяйственные постройки,

генератор, колодец, запас провизии на три месяца. Я строил это не как

дом – как убежище. Место, где можно пережить осаду.

Место, где мои

люди могут жить, не просыпаясь от каждого звука.

Здесь жили семьи. Тридцать две семьи. Сто сорок семь человек —

мужчины, женщины, дети, старики. Бойцов — двадцать восемь. Остальные

— те, ради кого бойцы стреляют. Жёны, матери, сыновья, дочери. Те, чьи

имена я знал наизусть. Каждое. Потому что каждое имя — это

ответственность. Каждое — груз на моих плечах. И я нёс. Потому что

если не я — то кто?

Никто. Ответ прост и страшен. Никто.

Обход. Посты — проверил. Генератор — работает. Запас топлива — на

две недели, нужно пополнить. Связь — нестабильная, ре-транслятор на

горе барахлит, нужен ремонт. Продовольствие — нормально, женщины

держат хозяйство жёстко, ничего не пропадает. Скотина — десять

баранов, четыре козы, куры. Звучит как ферма. Выглядит — как последний

форпост.

Я останавливался. Говорил с людьми. Несколько слов —

больше не нужно.

«Как дети?» – «Хорошо, Алихан, слава Всевышнему».
«Нога?» —

«Заживает». «Нужно что-нибудь?» – «Муки бы». Муки бы. Человек живёт в

крепости, окружённой врагами, и ему нужно – муки. Потому что жена

печёт хлеб. Потому что дети хотят лепёшки. Потому что жизнь

продолжается, даже когда вокруг – смерть. Особенно – когда вокруг

смерть.

Люди выживают не вопреки войне. Люди выживают внутри неё. Строят дома на

минных полях. Рожают детей под обстрелом. Пекут хлеб в осаде. Потому что

жизнь – упрямая. Жизнь – как трава сквозь асфальт. Её давишь,

топчешь, заливаешь бетоном – а она лезет. Всегда лезет.

Тонким зелёным

стеблем – сквозь всё.

Я дошёл до восточной стены – и увидел её.

Доктор.

Она стояла у колодца и разговаривала с женщинами. Нет – не

разговаривала. Слушала. Три женщины – Зарема, Хеда и

старая Петимат

– стояли вокруг неё и говорили одновременно, перебивая друг друга, и

жестикулировали, и показывали что-то на руках, на животе, на голове. Она

кивала. Внимательно, серьёзно, не перебивая. Потом взяла руку Заремы —

осторожно, двумя пальцами – повернула, осмотрела ладонь, пощупала.

Сказала что-то. Зарема закивала. Хеда полезла за пазуху – вытащила

ребёнка. Грудного, месяца три-четыре. Доктор взяла ребёнка – привычно,

профессионально, одной рукой под голову, другой – под спину.

Осмотрела. Ребёнок загукал. Она – улыбнулась.

Я остановился.

Я видел её улыбку впервые. За неделю – впервые. На перевязках —

маска. В разговорах – маска. В коридоре – маска. И вдруг – улыбка.

Маленькая, быстрая, неровная, как трещина в стене. И от этой улыбки у

меня сжалось в груди – не там, где раны. Глубже. Там, где, я думал,

ничего не осталось.

Она улыбалась чужому ребёнку. В плену. С автоматчиком за спиной. С

замком на двери. Она улыбалась – потому что ребёнок за-
гукал, и это был

единственный звук в этом доме, который не означал угро-
зу.

Дети. Единственные существа, которые не пахнут войной.
Она вернула ребёнка Хеде. Повернулась – и увидела меня.
Наши глаза встретились через двор. Двадцать метров. Она
– у колодца, я

– у стены. Между нами – пыль, солнце, жизнь, которая
упрямо лезла
сквозь бетон.

Её лицо изменилось. Улыбка – ушла. Маска – вернулась.
Но на секунду

– на одну проклятую секунду – я видел, как она смотрит
на меня, и в
её взгляде было то, чего я не ожидал.

Злость.

Не страх. Злость. Она злилась – что я встал. Что хожу. Что
нагружаю

ноги, швы, печень. Она злилась – как хирург злится на
пациента,

который срывает капельницу и идёт курить. Профессио-
нальная злость.

Правильная.

Она пошла ко мне. Быстрым шагом, почти маршем. Военная выправка —
выучка, которую не спрячешь, она жила в её позвоночнике, в развороте
плеч, в том, как она ставила ноги — ровно, чётко, по линии.
— Вы с ума сошли, — сказала она. Тихо. Сквозь зубы. Так, чтобы люди
вокруг не слышали. — Я сказала — неделя покоя. Неделя. Сегодня —
седьмой день. Вы даже не дали мне осмотреть швы перед тем, как устроить
парад.
— Это не парад. Это обход.
— Это самоубийство в рассрочку. Если шов на печени разошёлся — вы
истечёте внутренним кровотечением, и я не успею вас открыть. Не здесь.
Не с моим оборудованием.
— Я в порядке.
— Вы — серый, как эта стена. У вас зрачки расширены от боли, которую
вы глотаете, как воду. И вы хромаете на правую ногу — значит, бедро
воспалилось. Вы — не в порядке. Вы — упрямый идиот, который думает,
что если достаточно сильно стиснуть зубы, законы физио-

логии перестанут

действовать.

Упрямый идиот.

Капитан военно-медицинской службы только что назвала меня упрямым

идиотом. Во дворе. При людях – которые, к счастью, стояли далеко и не

слышали.

Я должен был разозлиться. Должен был осадить. Поставить на место.

Напомнить, кто она и кто – я.

Вместо этого я почувствовал, как что-то тёплое шевельнулось в груди. Не

злость. Не раздражение. Что-то другое – незнакомое, щекочущее, почти

болезненное. Как будто внутри, за бетонной стеной, что-то проросло —

тонкое, зелёное, неуместное.

Я не знал, как это называется.

Я не хотел знать.

– Пойдёшь со мной, – сказал я.

Она замерла.

– Что?

– Обход. Пойдёшь со мной. Ты – врач. Мои люди – без врача с

рождения. Осмотришь, кого нужно.

Я видел, как она обрабатывает это. Как хирург обрабатывает снимок —

быстро, послышно, вычленяя главное. Приказ? Просьба? Ловушка? Стратегия?

Она искала подвох — и не находила. Потому что подвоха не было.

Или был. Но я сам не понимал — какой.

— Я должна контролировать, чтобы вы не свалились и не загнали пулю

обратно, — сказала она наконец. И пошла рядом.

Рядом.

Не позади, как Тимур. Не впереди, как Вахид. Рядом.

Плечо к плечу. Шаг в

шаг. Как равная.

Мои люди видели это. Я знал — видели. Шёпот пойдёт к обеду. К вечеру

— дойдёт до Вахида. К ночи — до каждого уха в усадьбе.

Русская.

Рядом с Алиханом. Не позади — рядом. Что это значит?

Плевать, что это значит. Мне нужен был врач на обходе.

Точка.

Но врач мог идти позади.

А она шла рядом.

И я — позволил.

Мы обошли территорию. Она осматривала людей — быстро, молча, без

лишних слов. Старику с хроническим кашлем – послушала грудь,

нахмурилась, выписала на клочке бумаги режим и отвар. Женщине с больной

спиной – показала упражнения, жёстко, по-военному. «Каждый день.

Утром. Без исключений. Спина не простит лени». Мальчишке с гнойником на

локте – вскрыла, промыла, забинтовала. Мальчишка даже не пискнул —

смотрел на неё огромными глазами, как на пришельца.

Она работала. И когда она работала – она была другой. Не пленницей. Не

женщиной. Не жертвой. Она была – силой. Тихой, точной, несокрушимой.

Как река, которая не бьёт в стену – она её обтекает. И стена —

стоит, но река – течёт. И в конце концов стена – рушится.

А река —

нет.

Я шёл рядом и смотрел. И чем дальше смотрел – тем сильнее ломило

внутри. Не в ранах. В том месте, где я похоронил всё живое.

Потому что она делала то, что я делал – защищала. Только я защищал —

автоматом, страхом, стенами. А она – руками, тишиной, знанием. Я

ставил стены. Она – лечила. И её способ был сильнее моего. Потому что

стены рушатся. А то, что вылечено, – живёт.

У восточных ворот – мальчишка. Лет восемь. Ибрагим – сын Мурада,

одного из моих лучших. Бежал с палкой, упал, рука – в крови. Порез —

длинный, от запястья до локтя. Не глубокий, но кровил сильно. Мальчишка

не плакал – стиснул зубы, держался. Мурадов сын – порода.

Она увидела раньше меня. Метнулась – быстро, как кошка. Присела перед

мальчишкой на корточки. Взяла его руку – нежно, но крепко.

– Ну-ка, покажи. Ого. Воин. Как тебя зовут?

– Ибрагим, – буркнул мальчишка. Глаза – мокрые, но губа

—
закушена.

– Ибрагим, значит. Я – доктор. Сейчас будет немножко неприятно, но

ты ведь не боишься?

– Не боюсь.

– Вижу. Храбрый. Держи.

Она промыла рану. Обработала. Перевязала – быстро, ловко, красиво.

Бинт лёг идеально – белый, чистый, как бант на подарке. Мальчишка

смотрел на неё – не на бинт, на неё – и в его глазах было то, что я

видел в глазах Тимура, когда тот пришёл ко мне в пятнадцать лет.

Обожание. Мгновенное, детское, безусловное.

Она улыбнулась ему. Второй раз за день. И эта улыбка – простая,

рабочая, «всё будет хорошо» – ударила меня под дых.

Потому что она улыбалась моему мальчишке. Сыну моего человека. Ребёнку

моей стаи. Она – чужая, русская, пленница – присела перед ним, и

лечила, и улыбалась, и он смотрел на неё как на чудо.

И я подумал: вот что она делает. Вот – её оружие. Не скальпель. Не

знание. Не профессионализм. Её оружие – то, что она заставляет людей

чувствовать себя живыми. Увиденными. Важными. Она смотрит на мальчишку с

порезом – и он для неё не «ребёнок боевика». Он – Ибрагим. С храброй

губой и мокрыми глазами. Человек. Просто – человек.

Я разучился видеть людей так. Давно. Для меня люди были функциями. Боец.

Союзник. Враг. Жена. Сын. Ярлыки, которые я вешал, как бирки на товар.

Удобно. Эффективно. Мёртво.

А она – видела. И от этого – от её способности видеть живое в

мёртвом мире – меня выворачивало. До мурашек вдоль хребта. До

пересохшего горла. До ломоты в костях – той, которая не от ран, а от

чего-то более глубокого. От осознания, что ты – сломан.

Что тот

мальчишка, который когда-то читал «Графа Монте-Кристо» и хотел стать

врачом, – мёртв. Убит не пулей, а жизнью. И на его месте – машина.

Эффективная, опасная, одинокая машина.

А рядом – женщина, которая чинит людей.

И машина внутри меня – впервые за пятнадцать лет – закрипела.

Заржавевшие шестерёнки – дёрнулись. Что-то повернулось. Что-то —

сдвинулось.

Мальчишка убежал, подпрыгивая и размахивая забинтованной рукой, как

флагом. Она выпрямилась. Посмотрела на меня.

– У него на локте – старый шрам. Ожог. Кто-то тушил об него

сигарету. Не отец – Ибрагим вздрагивает, когда к нему подходят сзади,

но отца не боится. Кто-то другой. До того, как они пришли сюда.

Она сказала это ровно. Без обвинения. Без вопроса. Просто – факт.

Медицинский. Но за этим фактом стояло другое: она видела то, чего не

видел я. Она смотрела на моего мальчишку – и видела его историю. Его

боль. Его прошлое. Вещи, которые я не замечал, потому что давно перестал

смотреть на людей как на людей.

– Я знаю, – сказал я. И это была ложь. Я не знал.

Она посмотрела на меня – и я понял, что она знает, что я вру. Но не

сказала ничего. Просто – кивнула. И пошла дальше.

Вахид ждал у ворот. Я видел его – стоял, сложив руки на груди, и

смотрел на нас. На меня и на неё. Рядом. Плечо к плечу.

Русская женщина

– рядом с главой.

Его лицо – камень. Но глаза – живые, быстрые, считаю-

щие. Вахид

всегда считал. Людей, риски, расклады. Он был калькулятором в человеческой шкуре. И сейчас его калькулятор работал на полную – я видел.

Она прошла мимо него. Не посмотрела. Не поздоровалась. Она не боялась

Вахида – или боялась, но не показывала. С ней – не разберёшь. Она прятала страх так же профессионально, как зашивала раны.

Вахид дождался, пока она скроется в доме. Подошёл ко мне. Тихо. Как

всегда.

– Она ходит по территории, – сказал он. Не вопрос. Констатация. С

привкусом яда.

– Со мной.

– Люди видят. Люди – говорят.

– Пусть говорят.

– Старухи говорят: «Невеста ждёт. А он с федеральной ходит».

Невеста. Марьям. Я почти забыл. Нет – не забыл. Отодвинул. Туда, где

лежали вещи, о которых я не хотел думать. Свадьба. Аль-

янс с Вахой.

Двадцать бойцов, которые стоят за спиной этого союза.
Марьям – чистая,
юная, с глазами газели и верой, которую я не заслуживал.
Марьям – была правильным выбором. Стратегическим.
Единственным.

А доктор – была неправильным. Опасным. Невозможным.
И я стоял у ворот и знал обе эти вещи. И знал третью –
самую страшную:

правильное и неправильное больше не значили то, что
значили раньше.

– Она – врач, Вахид. Мои люди – без врача. Она осматри-
вает, лечит,

помогает. Это – стратегия.

Он посмотрел на меня. Долго. Тяжело. Как смотрят на че-
ловека, которого

знают двадцать лет и впервые – не узнают.

– Стратегия, – повторил он. Без выражения. Как эхо в пу-
стом

коридоре.

Повернулся. Ушёл.

Я стоял у ворот и смотрел на горы. На снежные вершины,
которые не

менялись – ни от войны, ни от крови, ни от моих решений.

Горы стояли

до меня. Будут стоять после. И им – плевать.

А мне – впервые за пятнадцать лет – было не плевать.
И это пугало больше, чем Хасан, Вахид и все пули мира.

Глава 7

Людмила

Тимура привезли в три часа ночи.

Я уже не спала – разучилась спать по-человечески, урывками, по сорок

минут, как на дежурстве. Тело помнило ритм: сорок минут – провал,

потом – рывок, глаза в потолок, сердце колотится, пальцы ищут

скальпель на тумбочке, которой нет. Фантомный рефлекс. Как у человека,

которому отрезали ногу – нога болит, хотя ноги нет. У меня болела

операционная, которой не было.

Грохот внизу. Голоса – быстрые, резкие, на чеченском. Я разобрала:

«Кровь», «Быстро», «Доктора». Доктора. Меня.

Дверь – щелк. Конвоир – тот самый, молчаливый, с лицом валуна:

– Вниз. Раненый.

Я уже была одета. Спала одетой – с первой ночи. Как на войне. Потому

что это и была война. Просто – чужая.

Подвал. Мой стол. Моя лампа. Мой ад – привычный, об-

житый, почти

родной. На столе – Тимур. Мальчишка с щенячьими глазами, который

держал Алихана за плечи, пока я резала. Мой ассистент поневоле. Мой

«держатель».

Сейчас он лежал – серый, мокрый от пота, и глаза – стеклянные, как у

куклы. Живот – вздут, справа, в подвздошной области – напряжение. Я

коснулась – он заорал. Не от боли даже – от страха боли, которая

была внутри и росла.

– Когда началось? – спросила я у Вахида. Тот стоял в дверях,

скрестив руки.

– Вечером. Думали – отравился. Потом – хуже.

– Хуже – это как?

– Корчился. Блевал. Температура.

Я осмотрела. Тридцать секунд – и диагноз стоял, как отлитый в бетоне.

Аппендицит. Острый. С признаками начинающегося перитонита.

Мать твою.

– Мне нужен стол, свет, инструменты, – сказала я. И услышала

собственный голос – тот самый, металлический, командный. Голос,
который включался автоматом, когда жизнь чужого человека зависела от
моей скорости. – Кипяток. Чистые полотенца. Спирт. И позовите
кого-нибудь – держать. Я буду резать.
Вахид не двинулся.
– Он что – умрёт?
– Если я не прооперирую в ближайший час – да. Перитонит. Гной в
брюшной полости. Сепсис. Смерть. В такой последовательности.
Вахид ушёл. Через три минуты подвал превратился в операционную —
убогую, чудовищную, невозможную. Стол, протёртый спиртом. Лампа – две,
притащили вторую. Инструменты – мой хирургический набор, который Вахид
привёз из города вместе с антибиотиками. Не идеально, но – есть.
Скальпель, зажимы, иглодержатель, кетгут. Настоящий кетгут. Я чуть не
заплакала, когда увидела. Шёлковые нитки были хороши для печени Алихана
– но кетгут был лучше. Кетгут рассасывался сам. Кетгут

был

цивилизацией.

Обезболивание – местное. Новокаин. Не идеал, но альтернатива —

ничего. Я обколола операционное поле и подождала три минуты.

– Тимур. Слышишь меня?

Он смотрел на меня – огромными, мокрыми глазами. Мальчик. Двадцать

лет, а глаза – на двенадцать. Глаза ребёнка, который так и не вырос,

потому что мир не дал ему времени.

– Я умру? – спросил он. Хрипло. Тихо. Как будто боялся ответа, но не

спросить – не мог.

– Не на моём столе, – сказала я.

Те же слова. Те же, что говорила каждому. Ритуал. Заклинание. Мантра,

которая не имела медицинского обоснования, но работала – потому что

человек, который слышит «не на моём столе», цепляется за это. Как

утопающий за доску. Доска не спасает – спасает вера в доску.

Разрез. Правая подвздошная область. Косой, по Волковичу-Дьяконову —

классика, которую я могла делать с закрытыми глазами.

Кожа, подкожная

клетчатка, апоневроз, мышцы – раздвинула тупым способом, как учили.

Брюшина – мутная, отёчная. Вскрыла – и запах ударил в лицо. Гной.

Зеленоватый, зловонный, тот самый запах, от которого молодые хирурги

падают в обморок на первой практике. Я не упала. Я давно не падаю.

Аппендикс – гангренозный, раздутый, чёрно-зелёный, готовый лопнуть.

Ещё час – и лопнул бы. И тогда – всё. Разлитой перитонит, которого в

этом подвале не вылечить.

Я перевязала основание. Отсекла. Погрузила культую. Промыла брюшную

полость – литр физраствора, потом ещё литр. Дренаж. Шов – послойно,

аккуратно, стежок за стежком.

Тимур молчал. Стиснул зубы – и молчал. Как его командир. Такая же

порода – та, что не кричит. Только побелевшие пальцы на краю стола и

пот, стекающий в глаза.

– Всё, – сказала я. – Готово. Живёшь.

Он выдохнул. Длинно, рвано, со всхлипом, который не был плачем, но был

– рядом. Близко. На расстоянии одного вдоха.

– Спасибо, – прошептал он. И его рука – мокрая, горячая, дрожащая

– нашла мою и сжала. Как ребёнок сжимает руку матери в темноте.

Я не убрала руку.

Я стояла над ним, в чужом подвале, в три часа ночи, в перчатках, липких

от гноя, – и держала за руку мальчишку, который убивал людей и смотрел

на меня как на бога.

И думала: вот что я делаю. Вот зачем я здесь. Не потому что пленница. Не

потому что заставили. Потому что этот мальчишка умер бы без меня.

Сегодня ночью, на этом столе, от аппендицита – болезни, которую лечат

в любой районной больнице за сорок минут. Он умер бы – потому что в

этих горах нет больницы. Нет врача. Нет никого, кто умеет отличить

аппендицит от отравления.

Кроме меня.

И знаете, что страшно? Не операция. Не гной. Не подвал

при свете двух

лампочек. Страшно – что я чувствовала покой. Настоящий, глубокий,

почти блаженный покой. Когда мои руки были в его животе, когда я искала

гангренозный аппендикс среди петель кишечника, когда промывала брюшную

полость литрами физраствора – я была на месте. Я была тем, кем должна

быть. Не пленницей, не заложницей, не «доктором», которого вызывают по

щелчку. Хирургом. Человеком, который спасает жизнь. И ничто – ни замок

на двери, ни автоматы за стеной, ни человек с пустыми глазами этажом

выше – не могло этого отнять.

Это было моё. Единственное моё в этом доме, где ничего мне не

принадлежало.

Пока я режу – я свободна. Парадокс, от которого хотелось выть. Самая

абсолютная свобода – в самом абсолютном плену. Потому что над

операционным столом нет ни пленников, ни хозяев. Есть хирург и пациент.

И хирург – бог. Единственный бог, в которого я верила.

Я поднялась наверх. Вымыла руки. Вышла во двор.

Рассвет. Горы – розовые в первом свете, как будто кто-то провёл кистью

по вершинам. Воздух – холодный, чистый, со вкусом хвои и камня. Я

стояла на крыльце и дышала. Просто дышала. И мои руки тряслись – как

всегда после операции, мелкой дрожью, которую не унять, пока не пройдет адреналин.

Я достала сигарету. Не мою – Тимурову, стащила из его пачки, пока он

спал после наркоза. Не курила раньше. Здесь – начала. Потому что после

того, как ты достаёшь из живого человека гнойный аппендикс при свете

лампочки на удлинителе, тебе нужно что-то делать руками. Что-то, кроме

как резать, зашивать, спасать.

Затянулась. Закашлялась. Дрянь. Но – помогало. Руки занялись делом, и

дрожь утихла.

Звук.

Из подвала. Нет – из другой части подвала, дальней, за стеной от моей

«операционной». Звук, который я знала. Который слыша-

ла на войне – не

часто, но достаточно, чтобы он впечатался в подкорку и остался там

навсегда.

Крик.

Человеческий крик. Не от боли – от боли кричат иначе, резче, рваным

выдохом. Этот крик был – от ужаса. Тягучий, мокрый, захлёбывающийся.

Крик человека, которого ломают.

Я замерла. Сигарета дымилась между пальцев. Крик оборвался – и сразу

после – глухой удар. Ещё один. Ещё.

Я подошла к подвальному окну. Маленькое, зарешёченное, на уровне земли.

Встала на колени. Прижалась лицом к решётке.

Увидела.

Комната – бетон, голые стены, лампа. Стул. На стуле – человек.

Привязан. Лицо – месиво: кровь, опухоль, один глаз заплыл. Рот —

разбит, красное на подбородке, на рубашке, на полу.

Перед ним – Алихан.

Стоял. Спокойно. Руки вдоль тела. Не кричал, не размахивал, не угрожал.

Стоял – и от его спокойствия было страшнее, чем от лю-

бого крика.

Он что-то спросил. Тихо – я не расслышала. Человек на стуле замотал

головой. Алихан кивнул кому-то за кадром. Удар. Я услышала хруст – не

хруст кости, мягче, как хрустит хрящ. Нос. Ему сломали нос. Человек

взвыл – и кровь хлынула, и он захлёбывался, и его рвало кровью, и звук

– мокрый, булькающий – вошёл в мои уши и остался.

Алихан ждал. Терпеливо. Как ждут, пока чайник закипит. Как ждут автобус

на остановке. Обыденно. Привычно. Буднично.

Потом – снова вопрос. Снова замотанная голова. Снова кивок.

На этот раз – я видела. Человек за кадром вышел в свет. Вахид. В руке

– плоскогубцы. Обычные. Хозяйственные.

Он взял руку привязанного. Положил на подлокотник. И выдернул ноготь.

Мизинец.левой руки. Одним движением – быстрым, точным. Та же рука, та

же точность, та же – профессия. Только его профессия – другая. Его

профессия – не чинить. Ломать.

Человек заорал. Заорал так, что я отпрянула от окна, и

МОИ КОЛЕНИ

подкосились, и я села на землю, и мир стал белым, звенящим, как после

контузии. Крик вошёл в меня – через уши, через кожу, через кости – и

остался. Как осколок. Как пуля. Как всё, что входит и не выходит.

Меня вырвало.

Прямо тут, на земле, у подвального окна. Желчью – потому что в желудке

ничего не было. Я стояла на четвереньках и выворачивалась наизнанку, и

мне было всё равно, видит кто-то или нет. Тело – предало. Тело —

помнило, что я человек, даже если я забывала.

Потому что внизу – человек, которого я зашила. Человек, который лежал

на моём столе, и я держала его печень в руках, и мои пальцы знали его

изнутри – этот человек стоял в трёх метрах от стула и смотрел, как его

людям выдирают ногти. Спокойно. Методично. Как хирург.

Как хирург.

Как я.

Меня затрясло. Не руки – всё тело. Крупная дрожь, от ко-

торой стучали

зубы и подпрыгивали колени. Я села, привалившись к стене, обхватила себя

руками и пыталась дышать. Вдох – четыре секунды. Выдох – шесть.

Техника, которой учили на курсах ПТСР. Техника, которая работала в

госпитале, в операционной, в безопасности.

Здесь она не работала.

Потому что безопасности – не было. Нигде. Ни в комнате за замком, ни

во дворе, ни рядом с ним. Я жила в доме человека, который ломал людей и

потом мыл руки и шёл ужинать. Я зашивала этого человека. Я перевязывала

его раны. Я слушала его ночные кошмары и прикладывала ладонь к стене,

чтобы почувствовать его шаги.

Какого чёрта я делаю?

Есть граница. Тонкая, невидимая, как линия между жизнью и смертью на

мониторе. По одну сторону – сострадание. По другую – соучастие. Я

лечила его людей. Спасала их жизни. Улыбалась их детям.

И через стену

– через одну бетонную стену – от моей операционной вы-

дирали ногти и
ломали кости.

Где я? По какую сторону?

Я сидела на земле и не знала ответа. И от незнания – ломало кости.

Буквально – ноющая, тупая боль в каждой кости, от черепа до пяток, как

будто скелет сжимался, пытаюсь стать меньше, незаметнее, исчезнуть.

Андрей.

Он пришёл – как всегда, без приглашения. Встал перед глазами: живой,

тёплый, с ямочкой на левой щеке и дурацкой привычкой крутить ручку между

пальцами. Андрей говорил мне однажды: «Людка, в мире нет хороших и

плохих. Есть живые. И всё, что они делают, – чтобы остаться живыми. Мы

с тобой – не исключение. Мы просто выбрали красивый способ: ты —

лечишь, я – стреляю. Но суть одна. Выживание. И не суди тех, чей

способ – уродливее твоего. Они не выбирали. Как и ты».

Я тогда сказала: «Бред романтический». Он засмеялся: «Я и есть

романтический бред. Посмотри на мою морду – разве это

лицо реалиста?»

Андрей погиб через неделю после этого разговора. Пуля прошла через

правый желудочек, и я стояла над ним с зажимом в руках и не могла – не

умела – не успела. И его лицо – лицо романтического бреда – стало

серым, потом белым, потом никаким. И линия на мониторе – поползла. И

выпрямилась.

И я выпрямилась вместе с ней. Стала прямой. Плоской. Без изгибов. Без

тёплых мест. Линия без пульса.

А сейчас – сидя на земле у подвального окна, в чужих го-рах, в чужом

плену – я чувствовала, как эта линия дрожит. Как кардиограмма при

первых признаках жизни – неуверенно, криво, больно.

Что-то внутри меня

пульсировало. Что-то, что я считала мёртвым, – билось.

Слабо.

Отчаянно. Как сердце Андрея в те последние секунды, когда оно ещё

пыталось.

Я не хотела, чтобы оно билось. Пульс – это боль. Пульс – это «я

чувствую». А «я чувствую» – это невыносимо. Потому что если я начну

чувствовать – я почувствую всё. И крик из подвала, и руку Тимура, и

улыбку Ибрагима, и взгляд Алихана – тот самый, тяжёлый, без дна, от

которого горело между лопаток. Если я начну чувствовать – я не смогу

остановиться. Как кровотечение, которое не тампонируешь.

Я поднялась. Вытерла рот. Пошла внутрь.

В коридоре – он.

Алихан. Шёл навстречу. Рубашка – чистая. Руки – чистые.

Лицо —

каменное. Шёл – ровно, уверенно, как будто не было ни подвала, ни

стула, ни крика, от которого я выворачивалась наизнанку пятнадцать минут

назад.

Наши глаза встретились.

Он знал.

Я видела – знал. Знал, что я видела. И не отвёл глаза. Не извинился.

Не объяснил. Смотрел – прямо, тяжело, без стыда.

И в его взгляде – на самом дне – было что-то, похожее на вопрос.

«Теперь ты видишь. Теперь ты знаешь. Я – это. Целиком.
Без купюр. Что
теперь?»

Я прошла мимо. Молча. Не остановилась.

Поднялась в свою комнату. Закрыла дверь – свой замок,
изнутри.

И думала. О том, что мир – не чёрно-белый. Что никогда
не был. Что я

– военный хирург, три года в зоне конфликта – должна
была понять это

раньше. Я лечила мальчишек, которые стреляли в других
мальчишек.

Зашивала солдат, которые через час шли убивать. Спасала
жизни, которые

потом – отнимали чужие. Я всегда была частью машины.
Только раньше —

машина была своей. Теперь – чужая.

Но машина – та же. И я в ней – та же.

Врач, который лечит того, кто убивает.

Стук в дверь. Тихий. Не конвоир – те стучат кулаком. Этот

—
костяшками. Осторожно.

Я открыла.

Ибрагим. Мальчишка с забинтованной рукой. Стоял – ма-
ленький,

взъерошенный, с глазами, которые были слишком взрос-

лыми для

восьмилетнего лица. В руке – листок. Протянул мне.

Рисунок. Карандашом. Корявый, детский, кривой.

Два человечка. Один – большой, в чёрном. Другой – поменьше, с

красным крестом на груди. Между ними – линия. Стена?

Мост? Не

разберёшь. Детский карандаш не точен. Но – выразителен.

Внизу – буквы. Крупные, неровные. На чеченском. Я не поняла.

– Что тут написано? – спросила я.

Ибрагим посмотрел на меня. Серьёзно. По-взрослому. И сказал – тихо,

старательно выговаривая русские слова:

– Не бойся. Доктор не обижают.

Я взяла рисунок. Посмотрела на мальчишку. На его глаза – огромные,

тёмные, с обожанием, которое я видела вчера, когда перевязывала ему

руку. Он пришёл – сам. Принёс рисунок – потому что почувствовал.

Дети чувствуют. Лучше взрослых. Точнее. Честнее.

– Спасибо, Ибрагим, – сказала я. И голос – сломался. На последнем

слоге. Как ветка под снегом – держала, держала – и не вы-

держала.

Мальчишка кивнул. Убежал. Шлёпанье босых ног по коридору – и тишина.

Я закрыла дверь. Прижала рисунок к груди.

И заплакала.

Впервые за два года. Впервые – после Андрея. Та комната, которую я

заколотила – с гвоздями, с досками, с железным засовом,

—
распахнулась. И оттуда хлынуло. Всё. Сразу. Андрей. Мама. Колонна.

Подвал. Его руки – чистые после допроса. Его глаза – пустые.

Тимурова рука – горячая, дрожащая, в моей. Крик из подвала. Ибрагим с

рисунком. «Не бойся. Доктор не обижают».

Я плакала – тихо, сжав зубы, кусая подушку, чтобы ни звука. Потому что

стены тонкие. И он – через стену. И если он услышит – он узнает, что

я сломалась.

Плакала – и не могла остановиться. Как кровотечение, которое я

боялась. Как пульс, который вернулся. Всё, что я заколачивала два года

– гвоздь за гвоздем, доска за доской, – вылетало обратно.

И каждый

гвоздь – это было имя. Андрей. Мама. Безымянный солдат без жетона.

Ефимов с ампутированной ногой. Ахметов, мёртвый до поступления. Тимур с

его «я умру?». Алихан с его «ты остаёшься». Костя с его «не смей

раскисать». Ибрагим с его «не бойся».

Не бойся.

Я боялась. Не плена. Не смерти. Не его.

Я боялась того, что происходило внутри. Того, что стена – моя стена,

выстроенная из пустоты, из профессионализма, из «я – функция» —

давала трещины. И через эти трещины лезло живое. Тёплое. Опасное. То,

что нельзя контролировать. То, от чего люди сходят с ума, делают

глупости, погибают. То, что убило Андрея – потому что он полез спасать

раненого под огнём, потому что чувствовал, потому что не мог не

чувствовать.

Чувства убивают. Я знала это. Видела. Стояла над доказательством с

зажимом в руках.

И всё равно – плакала. И рисунок мок от слёз. Два чело-
вечка. Линия
между ними.
Не стена. Не мост.
Шрам.

Глава 8

Алихан

Ваха Эльмурзаев приехал на рассвете – три машины, двадцать человек, пыль столбом. Так приезжают не в гости – так приезжают на смотрины.

Проверить, жив ли зять. Стоит ли ставка. Держит ли стена.

Я ждал на крыльце. Стоял – потому что стоять было важнее, чем дышать.

Бок горел. Бедро пульсировало. Голова – тяжёлая, мутная, как после

контузии. Но я стоял. Прямой. В чёрном. С лицом, которое ничего не

выражало, потому что выражать – значит показывать, а показывать —

значит подставиться.

Ваха вышел из машины. Шестьдесят два года. Грузный, широкий, с бородой

по грудь и глазами – маленькими, быстрыми, умными. Глаза торговца.

Глаза человека, который всю жизнь покупал и продавал – скот, землю,

людей, лояльность. Ваха не был воином. Ваха был ком-

мерсантом, который в

нужный момент надевал камуфляж. Его сила – не автоматы. Его сила —

деньги, связи, двадцать бойцов, которые стоили сорока, потому что каждый

– обучен, откормлен, вооружён не китайским барахлом, а тем, что

стреляет.

Наш союз стоил на его деньгах и моей территории. Формула простая: я

контролирую перевал, он – финансирует. Вместе – мы стена. По

отдельности – мишени.

И скрепляла эту формулу – его дочь.

Марьям.

Она вышла из второй машины. И двор – замер. Как замирает, когда входит

что-то, чего здесь не бывает. Не потому что красивая – хотя красивая,

да, чего врать. Потому что чистая. В этом дворе, пропахшем порохом и

кровью, где каждый камень помнил выстрелы, – она была как стакан воды

в пустыне. Двадцать два года. Тонкая. В платке – сером, простом, без

узоров. Глаза – огромные, карие, с ресницами, которые

отбрасывали тень
на скулы. Руки – сложены перед собой, как на молитве.

Опущенный
взгляд. Но не забитый – нет. Воспитанный. Марьям была
воспитана для
одного: быть тенью мужа. Стоять за его плечом. Молчать,
когда не
спрашивают. Рожать сыновей. Молиться.

Она верила в это. Искренне. Всем сердцем. И от этой искренности мне
хотелось выть.

Потому что я не заслуживал.

Марьям увидела меня – и её лицо вспыхнуло. Не улыбкой
– чем-то
большим. Светом. Тем светом, который бывает только у
тех, кто ещё умеет
любить – без условий, без расчёта, без «а что я получу
взамен».

Детская, слепая, обжигающая любовь, от которой хотелось отвернуться, как
от прожектора.

Она бросилась ко мне. Быстро, забыв про приличия, про
отца, про людей.

Схватила мои руки – обе – и прижала к губам. Её пальцы
дрожали.

Слёзы – по щекам, крупные, быстрые.

– Алихан\... Слава Всевышнему\... Я думала\... Мне ска-
зали\...

– Жив, – сказал я. И мягко – мягче, чем обычно, мягче,
чем привык

– убрал руки. Не резко. Аккуратно. Как убирают хрупкую
вещь, которую
боишься разбить.

Она заметила. Я видел – заметила. Её лицо дрогнуло. На
секунду —

трещина в свете. Потом – снова улыбка. Потому что Ма-
рьям умела прятать

боль. Не так, как я – за бетоном. Иначе. За верой. За «так
надо». За

«он – мужчина, ему виднее».

Ваха подошёл. Обнял меня – осторожно, стараясь не за-
деть раны. Его

борода пахла табаком и розовой водой. Старый запах. За-
пах поколения,

которое уходило.

– Хорошо выглядишь, – сказал он. Соврал. Я выглядел
как мертвец, и

мы оба это знали. Но Ваха – торговец. Торговцы не гово-
рят правду.

Торговцы говорят то, что выгодно. – Четыре пули. И сто-
ишь. Порода.

– Порода, – согласился я. Потому что с Вахой нужно со-

глашаться. В

мелочах. В крупных вещах – я решал. Но в мелочах – пусть думает, что его слова имеют вес.

Мы вошли в дом. Стол – накрыт. Женщины постарались. Мясо, лепёшки,

зелень, чай. Ваха сел по правую руку. Марьям – рядом с отцом, но её

глаза – на мне. Всё время. Как привязанные. Я чувствовал этот взгляд

кожей – тёплый, влажный, преданный. Взгляд, которым смотрят на святыню.

Я не был святыней. Я был человеком, который двенадцать часов назад стоял

в подвале и смотрел, как Вахид ломает чужие пальцы. Святыня с кровью под ногтями.

Разговор шёл по правилам: здоровье, территория, Хасан. Ваха слушал

доклад – его лицо не менялось, но я видел, как его маленькие глазки

считают. Потери. Риски. Шансы. Калькулятор в человеческой шкуре – как

Вахид. Только Вахид считал в свою пользу. А Ваха – в пользу дочери.

– Свадьба, – сказал Ваха. Между чаем и лепёшкой. Между
«как

здоровье» и «что с Хасаном». Просто – «свадьба». Одно
слово. Тяжёлое,

как камень, брошенный на стол.

– Дата стоит, – ответил я.

– Через месяц.

– Через месяц.

Он кивнул. Отпил чай. Марьям – рядом – сияла. Тихо,
внутренне, как

лампадка перед иконой. Она слышала «через месяц» – и
для неё это было

обещание. Контракт. Клятва. Через месяц она станет моей
женой, и её

жизнь обретёт смысл, и всё будет – как должно.

Мне было двадцать, когда я понял: «как должно» – это
самая жестокая

ложь, которую придумали люди. Нет никакого «должно».

Есть только то, что

есть. Грязное, кривое, кровавое. И мы называем это «как
должно», чтобы

не сойти с ума от того, что видим.

Марьям верила в «должно». И её вера – была единствен-
ным, что держало

этот альянс.

Если я скажу «нет» – Ваха уйдёт. Двадцать бойцов. День-

ги. Связи.

Восточные территории. Всё, что стоит за спиной этого грузного старика с торговыми глазами. Уйдёт – и Хасан раздавит меня за неделю.

Если я скажу «да» – я женюсь на женщине, которую не люблю. Не

чувствую. Не хочу. Которая смотрит на меня как на бога – а я не бог. Я

– человек с пустотой внутри. И заполнить эту пустоту Марьям не сможет.

Не потому что плохая. Потому что она стучится не в ту дверь. Дверь, за

которой – ничего. Пустая комната. Заколоченная.

Но есть другая дверь. Та, в которую никто не стучался пятнадцать лет.

Та, за которой лежало что-то тёмное, живое, опасное. И в эту дверь —

стучалась другая. Не кулаком. Не просьбой. Молча. Просто стояла рядом

– и стена трескалась.

Доктор.

Я запретил себе думать о ней. Здесь. Сейчас. При Вахе, при Марьям, при

всех. Но мозг – предатель хуже Хасана. Мозг подсовывал: её руки. Её

голос – «упрямый идиот». Её глаза – серые, холодные, безжалостные

– в двадцати сантиметрах от моих. Её спина – удаляющаяся по коридору

после того, как она увидела подвал.

Она прошла мимо. Молча. Не остановилась. Не спросила. Не обвинила.

И это молчание – было громче любого крика.

– Покажи Марьям дом, – сказал Ваха. Не мне – ей. Но смотрел на

меня. Проверял. Всё ещё проверял.

Марьям встала. Посмотрела на меня – с надеждой, робкой, хрупкой, как первый лёд.

– Если вы не заняты, – сказала она. Тихо. Вежливо. «Вы» – потому

что до свадьбы «ты» нельзя. Правила. Те самые правила, которые я нарушал

каждый день – убивая, воруя, контрабандя. Но перед Марьям – «вы».

Ирония, от которой сводило скулы.

Я встал. Повёл её по дому. Показывал комнаты – механически, без

эмоций. «Здесь – гостиная. Здесь – кухня. Здесь – наверх. Здесь

будет наша комната». «Наша». Слово прозвучало фаль-

шиво. Как нота, взятая

не на том инструменте. Марьям не заметила. Или замети-
ла – и спрятала,
как прятала всё.

Она шла рядом – и от неё пахло чем-то цветочным, слад-
ким, девичьим.

Она трогала стены, как трогают храм – с благоговением.
Это был её
будущий дом. Её будущая жизнь. Её мечта, оформленная
в камень.

Мне было тошно.

Не от неё. От себя. От того, что я делал – вёл эту девочку
по дому,
который пропитан кровью. Показывал стены, за которыми
– допросные.

Комнаты, в которых жили мужчины с автоматами. Двор,
в котором вчера я
стоял рядом с женщиной, от одного взгляда которой у ме-
ня пропускало удар
сердце.

Я вёл Марьям – и предавал её с каждым шагом. Не телом.
Хуже. Мыслями.

Потому что пока она говорила – «здесь будет красиво»,
«здесь можно
повесить занавески», «здесь – детская» – я думал о серых
глазах. О

руках с кровью под ногтями. О голосе, который говорил:
«Мне будет жаль
нитки».

Коридор второго этажа. Дверь – крайняя. За ней – она.
Доктор. Я

знал. Чувствовал – как чувствуешь огонь за стеной, ещё
до того, как

увидишь дым. Мы прошли мимо. Марьям – не заметила.
Я – заметил.

Заметил, как дверь – чуть приоткрыта. Как в щели – тень.
Она стояла

у двери и слушала наши шаги.

Мои шаги – и шаги Марьям. Рядом.

Я не остановился. Не посмотрел. Прошёл мимо – как она
прошла мимо меня

в коридоре после подвала.

Мы вышли во двор. Солнце. Горы. Марьям остановилась,
подставила лицо

свету. Улыбнулась. Красиво. Чисто. Как рассвет – без-
условный,

незаслуженный, дарованный.

– Здесь хорошо, – сказала она. – Тихо. Мирно.

Мирно. Она стояла во дворе крепости, окружённой вра-
гами, и говорила

«мирно». Потому что для неё мир – это не отсутствие вой-
ны. Мир – это

рядом с ним. С мужчиной, которого она любит. Её мир был маленький —

размером с одного человека. И этот человек — я.

Я смотрел на неё и думал: ты не знаешь, куда пришла. Ты не видела

подвала. Не слышала криков. Не видела, как я стою перед привязанным к

стулу и жду, пока Вахид сделает свою работу. Ты думаешь — здесь мирно.

Ты думаешь — здесь будет дом, дети, занавески на окнах. А под этими

окнами — кровь. На каждом камне. В каждой стене. В каждом вдохе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.